

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ

"НАУКА"

МОСКВА—1998

Е.В. Падучева (Москва). Парадигма регулярной многозначности глаголов звука.....	3
К.А. Переверзев (Москва). Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте философии языка.	24
Е.М. Верещагин (Москва). Два исследовательских инструмента в приложении к концепции русской Библии митр. Филарета (Дроздова). К 100-летию выхода в свет Гильтебрандтова конкорданса к Псалтыри	53
А.А. Плетьева (Москва). Дискуссии о церковнославянском языке в конце XIX в. Позиция архаизаторов	67
А.Н. Соболев (С.-Петербург). О предикативном употреблении причастий в русских диалектах	74
А.К. Матвеев (Екатеринбург). Мерянская топонимия на Русском Севере – фантом или феномен?	90

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Ю.В. Щекка (Москва). <i>Turkic languages</i> . V. 1. 1997	106
Н.Р. Сумбатова (Москва). Основы африканского языкознания. Именные категории	110
Г.В. Зубко (Москва). <i>В.Т. Клоков</i> . Словарь французского языка в Африке. Лингвострановедческие особенности	117

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	121
----------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, М.В. Живов,
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
М.М. Маковский (отв. секретарь), Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев,
О.Н. Трубочев (главный редактор), А.М. Шербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42

© 1998 г. Е.В. ПАДУЧЕВА

ПАРАДИГМА РЕГУЛЯРНОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ ГЛАГОЛОВ ЗВУКА*

1. РЕГУЛЯРНАЯ МНОГОЗНАЧНОСТЬ И ПАРАДИГМА ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА

Как известно, омонимия – явление в языке достаточно редкое, в то время как полисемия, т.е. многозначность, в том числе, регулярная многозначность [Апресян 1974] – это норма: регулярная многозначность в природе языка.

Мы исходим из того, что в основе регулярной многозначности лежит семантическая деривация (см. о связи многозначности со словообразованием и о возникающем на этой основе понятии семантической деривации в [Шмелев 1964: 56; 1968: 104–110; Апресян 1974: 187–193]). Семантические отношения между значениями многозначного слова могут рассматриваться как производность, которая лишь формально отличается от обычной лексической деривации, словообразования: семантическая деривация не требует формальных показателей. В самом деле, одно и то же семантическое соотношение может быть в одном языке словообразованием (ср. *Я открыл дверь* и *Дверь открылась*), а в другом – семантической деривацией (ср. *I opened the door* и *The door opened*).

Так же как словообразование, семантическая деривация имеет направление. Поэтому из двух значений слова с регулярной многозначностью одно является семантическим дериватом другого (или же оба они производны от какого-то третьего). Можно думать, что разных семантических типов производности не так много, так что все разнообразие значений слова создается действием относительно небольшого числа семантических переходов, затрагивающих не отдельные слова, а достаточно крупные классы. В основном, это разные варианты метонимических и метафорических переносов (о других семантических процессах, порождающих регулярную полисемию, см [Апресян 1974: 191]).

Разные значения слова, в том числе, такие, которые являются следствием регулярной многозначности, были названы в [Мельчук 1974] лексемами. В словаре [Мельчук, Жолковский 1984] лексемам, фактически, соответствуют отдельные словарные статьи. Разные лексемы одного слова иногда отличаются друг от друга очень незначительно, причем видно, что сдвиг значения обусловлен контекстом. Тем не менее, в рамках современной семантической техники, чтобы в словаре можно было сказать о значении слова что-то определенное, деление на лексемы надо произвести.

Расчленение на лексемы ведет к разрушению единства слова, усугубляя тот «списковый» подход к значению слова, который принят в современных толковых словарях. Выявление инвариантного компонента значения возможно только в случае радиальной полисемии (см. о трех топологических типах многозначности в [Апресян 1974: 182]). Мы предлагаем иной путь к восстановлению единства слова – через инвентаризацию регулярных типов семантической деривации. Речь идет о том, чтобы

* Работа выполнена при финансовой поддержке Международного фонда INTAS, проект 96-0085.

получать толкование производных лексем из толкования более исходной по единому правилу, общему для слов одного семантического класса.

В более слабой форме можно говорить об иерархической структуре на множестве значений, из которой бы выяснились внутренние связи между значениями [Апресян 1997]. В идеале, однако, нужны не просто связи между значениями, но и общность семантических соотношений, связывающих однотипные семантические дериваты от разных исходных лексем – нужны модели семантической деривации¹.

Задача работы – показать, что совокупность значений обычного, неомонимичного слова, в принципе, можно представить как парадигму лексем, связанных семантической деривацией. Это будет парадигма семантической деривации, иначе – парадигма регулярной многозначности слова. Тем самым совокупность значений слова предстанет как единая структура – такая же, как парадигма грамматических форм у слова заданной части речи или грамматического разряда [Зализняк 1964: 33]. Лексемы в пределах одной парадигмы связаны друг с другом определенными соотношениями, которые одинаковы для всех слов одного семантического класса – так же, как одинаковы соотношения в парадигме грамматических форм для слов одного грамматического разряда. Как правило, одна из лексем в парадигме является исходной, к о р н е в о й².

Разумеется, для того, чтобы имело смысл говорить о парадигме, процессы семантической деривации должны обладать определенной степенью продуктивности. Мы рассмотрим в качестве примера класс слов, для которого это условие соблюдается.

Работа посвящена трактовке регулярной многозначности в системе «Лексикограф» – семантическом словаре, представленном в форме лексической базы данных [Кустова, Падучева 1994]. Ниже речь идет о словаре глаголов.

В лексической базе данных содержится, в частности, следующая информация о глагольной лексеме.

I. Т е м а т и ч е с к и й к л а с с (иначе – семантическое поле), объединяющий слова с общим семантическим компонентом, который занимает центральное место в их смысловой структуре. Различаются, например: бытийные глаголы; глаголы обладания; физического действия, движения, речи и передачи сообщения, восприятия, мысли, чувства, издавания звука; и многие другие. Тематический класс часто имеет свои характерные проявления в синтаксисе. Так, у глагола передачи сообщения обязательно имеется Адресат; у глагола создания – Результат; у глагола движения обычно есть участник, характеризующий среду, ср. *плывет по реке*.

II. Т а к с о н о м и ч е с к а я (иначе – онтологическая) к а т е г о р и я; различаются, в частности: действие (*открыть*), деятельность (*гулять, прыгать*), процесс (*кипеть*), состояние (*голодать*), происшествие (*испугать, взбесить*) и под. Таксономическая категория (Т-категория) глагола определяет его схему (или формат) толкования [Кустова, Падучева 1994]. Например, для лексем со значением происшествия (*Меня разбудил звонок в дверь*) схема толкования такова: произошло событие X; это вызвало наступление события/состояния Y. Для дальнейшего нам понадобится Т-категория «процесс-каузация» (как у *звенеть* в контексте *Кони звенят уздечками*); формат толкования – как у глаголов происшествия, но каузация имеет как бы иной аспектальный тип: это делящееся воздействие, которое дает, соответственно, делящийся эффект.

¹ В [Mel'chuk 1988] выдвигается идея «семантических мостов» – общих нетривиальных семантических компонентов разных лексем одной «вокабулы». Мост более реалистичен, чем инвариант, поскольку возможен и в случае «фамильного сходства» между лексемами слова. Однако мост не решает проблемы, поскольку сохраняет идею уникальности семантических связей, на которых построено значение слова.

² Похожая программа семантического анализа лексики была намечена в [Шмелев 1973], где речь шла о необходимости восстановления единства слова; о связях между значениями; об исходном (первом) и производных значениях. Метонимия и метафора представлены в этой работе как «обобщенные формулы семантической структуры слова».

III. Обязательные участники и описываемой глаголом ситуации. Толкование описывает набор обязательных участников ситуации и их роли. В отличие от толкований в [Мельчук, Жолковский 1984; Апресян 1974], наше толкование состоит из отдельных синтаксически независимых компонентов. Компонент обычно описывает роль в ситуации одного из ее участников. В толковании отражена также коммуникативная структура значения – в ситуации различается передний план и периферия (соответственно, бывают центральные и периферийные участники; им соответствуют центральные и периферийные компоненты толкования). Две лексемы могут различаться по смыслу только тем, что некий семантический компонент у одной из них находится в центре на переднем плане, а у другой уходит на периферию, в фон. Это различие может выражаться синтаксисом. Например, в сочетании *бросать камни* участник *камни* на переднем плане – Объект, и соответствующий ему компонент центральный в толковании; а в *бросать камнями* этот участник периферийный. Мы апеллируем к понятию *д и а т е з ы* из [Мельчук, Холодович 1970], но определяем диатезу несколько иначе – как набор участников ситуации с их коммуникативными рангами: Субъект, Объект, Периферия, За кадром, см. об этом подробно [Падучева 1997]. (Дело в том, что Субъект и Объект, будучи синтаксическими категориями, имеют, однако, непосредственную коммуникативную значимость; термин «периферия» построен на ассоциации с периферийными падежами по Якобсону.) Итак, третий тип сведений о лексеме – диатеза.

IV. Таксономические и другие семантико-прагматические характеристики (денотативный статус, определенность и проч.) у ч а с т н и к а тоже прямым образом влияют на значение глагола: идентификация значения лексемы опирается на категоризацию ее актантов. Так, у многих глаголов есть два значения, которые различаются таксономической категорией Субъекта; например, глаголы *стучать*, *разрушать*, *разбудить* в контексте Субъекта-лица обозначают действие, направленное на достижение определенной цели; а если Субъект – природная сила или событие, эти глаголы обозначают процесс/происшествие, ср. *Человек / дождь стучит в окно*; *Человек / река разрушает мост*; *Отец / шум в коридоре разбудил ребенка*. Важная для нас Т-категория имен – устройство, предназначенное для выполнения какой-то функции; так, *звенеть* в *Звенит звонок* (*звонок* – устройство) имеет иное значение, чем в *Звенят цикады*. И дериваты их тоже разные, ср. *Прозвенел звонок*, но **Прозвенели цикады*. Разновидность устройств – транспортные средства (*поезд*, *машина*, *телега* и под.): будучи вполне неодушевленными, они перемещаются подобно людям (разве что не способны пользоваться транспортным средством), ср. *машинаехала, повернула, замедлила ход, остановилась*, и т.д.

Толкование должно показать, как смысл данной лексемы соединяется со смыслом других лексем в предложении, в частности, смысл глагола – со смыслом подчиненных ему слов. Обязательным участникам соответствуют переменные толкования [Апресян 1974: 42]. Но в ситуации могут быть, помимо обязательных участников, факультативные. При разных значениях слова допустимые типы факультативных участников различны, и толкование должно предсказывать возможность соединения слова с тем или иным факультативным участником. Например, сочетаемость глагола с обстоятельством причины обычно считается свободной. Между тем, исследования последних лет [Иорданская, Мельчук 1996] показали, что и семантика причинных союзов и сочетаемость глагола с обстоятельством причины зависят от противопоставления «контролируемая vs. неконтролируемая каузация». Так, действие каузируется мотивом, а происшествие – причиной: *от* чего-то нечто может иметь место (*скрежетал зубами от боли*), но не быть сделанным.

Свободная, т.е. независимая от словаря, сочетаемость – это, возможно, фикция. Скажем, сочетаемость глагола с обстоятельством места отнюдь не свободна. Так, можно сказать *Откуда-то сверху гудит колокол*, но не **Откуда-то сверху горит огонь* (хотя и *гудеть* и *гореть* – процессы): *гудеть* совместимо с участником Исходный

пункт, а *гореть* – нет. Дело в том, что гул/гудение воспринимается слухом, а огонь – зрением; звуковое восприятие концептуализуется таким образом, что звук до х о д и т до субъекта восприятия от предмета, издающего звук, отсюда естественный участник Исходный пункт; а при зрительном восприятии, наоборот, взгляд идет от глаза к предмету, и объект восприятия не является Исходным пунктом какого-либо движения.

Разумеется, не все необязательные участники должны быть явным образом зафиксированы в словаре. Например, нет необходимости указывать в словаре, что глагол *звенеть* имеет в числе своих потенциальных участников показатель громкости – *тихо, громко*: у *звенеть* есть семантический компонент ‘издавать звук’, а звук имеет громкость в качестве обязательного параметра.

Обязательный участник присутствует в концепте ситуации независимо от того, выражен он в предложении или нет. Факультативный участник входит в концепт ситуации только в том случае, если в предложении ему соответствует какая-то экспонента – актант (синтаксический) или сирконстант.

Один из факультативных участников ситуации – фоновый каузатор. Например, глаголу *скрипеть* в словаре приписан участник фоновый каузатор: указано, что каузатором скрипа является движение; это дает возможность, например, распознать, что во фразе *Телеги скрипели, выезжая из ворот* каузатор звука – выезжающие телеги; каузатор обозначен деепричастием. Более сложная связь между фоновым каузатором и звуком в отрывке:

(1) Когда ветер стихает и листья пастушьей сумки Еще шуршат *по инерции* или *благодаря безмятежности...* (Бродский. III.239)

Фоновый каузатор, как и другие участники, ограничен в отношении Т-категории: это может быть стихийная сила или состояние/событие, но ни в коем случае не целепологающий субъект.

Так называемые и н к о р п о р и р о в а н н ы е участники [Jackendoff 1993: 61; Падучева 1997] – как Огонь в семантике глагола *гореть*, Губы в *целовать* или Глаза в *видеть* – обязательно присутствуют в типовой ситуации глагола, но не имеют переменной в толковании; между тем они могут выходить на поверхность при диатетических сдвигах:

(2) затем, что глаза мои *видели* это дитя (Бродский. «Сретенье»).

Итак, есть по крайней мере четыре параметра, по которым значения глагола – его лексемы – отличаются друг от друга: тематический класс глагола; Т-категория; диатеза, т.е. участники с их коммуникативными рангами; и семантико-прагматические свойства участников – таксономия, денотативный статус и проч.

И все эти четыре параметра легко меняют значение в ходе семантической деривации, что дает новую лексему. Например, подвижной (флективной по [Булыгина 1980]) может быть Т-категория глагола, ср. *наполнять*-процесс и *наполнять*-состояние [Падучева, Розина 1993]; таксономическая характеристика участника (ср. *плыть* о человеке и о бревне; *ударить ребенка* и *ударить по столу*); тематический класс глагола, ср. *треснуть* в значении деформации (*стакан треснул*) и воздействия (*треснул по физиономии*); *скрести* в значении ‘чистить’ и в значении издавания звука, *Мостовую тихо скребет лопата* (Бродский); *хлопать* в значении издавания звука (*Ветер хлопал флагами*) и семиотическое (*хлопать артисту*, с целью выразить одобрение).

Указанные четыре параметра лексем не полностью независимы друг от друга – в том смысле, что выбор значения по одному параметру может предсказывать или исключать определенное значение по другому. Например, при переходе от *звенеть уздечками* к *уздечки звенят* меняются сразу и Т-категория глагола, и диатеза, и Т-категория участника.

Внутренние связи между разными параметрами значения – один из источников

семантически дефектных парадигм. Впрочем, грамматические параметры словоформы тоже не полностью независимы друг от друга. Так, сов. вид отсутствует у глагола в наст. времени; в сослагательном наклонении отсутствуют формы времени, и т.д.

2. ГЛАГОЛЫ ИЗДАВАНИЯ ЗВУКА: ПАРАДИГМА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ

Как правило, каждый тематический класс имеет свою стандартную семантическую парадигму. Далее речь идет о парадигме глаголов издавания звука.

К идеальным глаголам звука принадлежат: *гремять, гроыхать, грохать, грохотать, гудеть, дребезжать, звенеть, звонить, звучать, свистеть, скрипеть, стучать, тарыхать, трещать, хлопать, хлюпать, хрустеть, шелестеть, шипеть, шуметь, шуришать, щелкать*³.

Идеальные глаголы звука образуют плотно структурированную область: семантические деривации здесь в достаточной степени продуктивны. Так что идеальные глаголы звука почти всегда имеют полную (не дефектную) парадигму регулярной многозначности.

Общее свойство идеальных глаголов звука – то, что у них одним из участников является Источник звука, отдельный от Каузатора. Поэтому глаголы звука допускают диатетический сдвиг типа *Солдаты грохочут сапогами – Сапоги грохочут*. Между тем такой глагол, как *завывать* не предполагает Источника звука:

(1) и неважно, о чем там пурга *завывала* протяжно (Бродский);

здесь нельзя спросить **Чем она завывала?* Поэтому с точки зрения глагола *грохотать* глагол *завывать* имеет, так сказать, дефектную парадигму⁴.

Другая особенность идеальных глаголов звука: деятельность/процесс, сопровождающиеся издаванием звука, не специфицированы. Не относятся к идеальным глаголы *хранить* (= 'спя, издавать звук'), *пыхтеть, топать, хрипеть, стонать, сопеть, журчать; плакать* вообще не глагол звука – у него издавание звука не является обязательным компонентом (хотя *плач* – это звук).

Как пишет А. Вежбицка [Wierzbicka 1980: 111], «Семантическая структура большинства глаголов звука основана на соотношении с типической ситуацией. В случае глагола *rustle* 'шуршать, шелестеть' эта типическая ситуация, по-видимому, включает движение в контакте с сухими листьями». Здесь сухие листья – переменная, но движение Каузатора и его контакт с Источником звука – инвариант, который проходит через все идеальные глаголы звука. Схема толкования корневой леммы идеального глагола: Источник находится в контакте с Каузатором, Каузатор движется, движение передается Источнику, Источник издает звук.

В число участников ситуации издавания звука почти всегда входит Наблюдатель, т.е. Эксперимент в коммуникативном ранге За кадром [Падучева 1997: 21]. При присутствии Наблюдателя доказывается, в частности, тем, что место Источника звука выражается, как правило, дейктически – относительно Наблюдателя; так, в (2) предлог *за* показывает, что Наблюдатель находится по эту сторону от шторы:

(2) Море гремит *за волнистой шторой* (Бродский)

Наблюдатель исчезает из толкования леммы, как только издавание звука из процесса становится деятельностью или действием (о принципиальной роли Наблюдателя в семантике глаголов процесса см. Кустова 1994). Более того, с появлением деятеля факультативным может стать и сам звук:

³ Список составлен по словнику из [Зализняк 1978]. Кроме того, в нашем распоряжении был список глаголов звучания, составленный С.А. Крыловым с помощью его базы данных по словарю С.И. Ожегова.

⁴ По этой причине дефектна парадигма глаголов типа *лаять*, которые в своем первичном значении обозначают издавание звуков животными. Мы сосредоточимся на идеальных глаголах, поскольку начинать естественно с максимально полной парадигмы.

(3) Я звонил в дверь, но звонка не было.

Парадигма строится на базе четырех параметров лексического значения, рассмотренных в разделе 1. В парадигме различается основная часть (более обязательная) и дополнительная. Структуру парадигмы демонстрирует Таблица 1. Строка Таблицы 1 – это набор значений параметров. Лексемы одного слова образуют столбец (см. Таблицу 2), где каждой лексеме сопоставлена строка Таблицы 1. Основная часть парадигмы отделена от дополнительных жирными линиями.

Таблица 1

Структура парадигмы регулярной многозначности

Тематический класс	Шифр	T-категория лексемы	Диатеза	Характеристики участника
Г		II	III	IV
звук	1	процесс-каузация	(каузативная)	...
	2.1	процесс	с фоновым Каузатором	...
	2.2		без фонового Каузатора	...
	3		свойство	(без фонового Каузатора)
перемещение	...	действие

У большинства слов нашего списка все лексемы принадлежат к одному и тому же тематическому классу (например, *звенеть* во всех значениях остается глаголом звука). Для них тематический класс играет, среди параметров лексического значения, приблизительно ту же роль, что грамматический разряд в парадигме словоизменения: он определяет общую структуру парадигмы, не фигурируя ни в одной из строк в качестве параметра. Рассмотрим вначале именно этот случай.

Место лексемы в основной части парадигмы определяется ее T-категорией (у одного и того же глагола звука, как правило, есть лексемы категорий процесс-каузация, процесс и свойство) и диатезой. Для категории «процесс-каузация» диатеза однозначно предопределена как каузативная – *Каузатор-Сб, Пациенс-Об*. У лексем категории «свойство» один участник, и диатеза тоже не играет различительной роли. Для процесса же остаются две возможности – диатеза с фоновым Каузатором, когда процесс идет за счет притока энергии извне (Субъект – Пациент, а Каузатор уходит на периферию: *Стекла звенели от проезжающих карет*; это процесс с пассивным Субъектом, пассивный), и диатеза без фонового Каузатора, когда Каузатор либо совмещается с Пациентом в одном участнике (*Звенят цикады*), либо просто исчезает.

Каждой строке парадигмы сопоставлен шифр, который характеризует место лексемы в парадигме. Те же шифры сопоставлены лексемам в Таблице 2.

Таблица 2

Основная часть семантической парадигмы глагола *звенеть*:

ЗВЕНЕТЬ 1, процесс-каузация (*Кони тихо звенели уздечками*)

ЗВЕНЕТЬ 2.1, процесс: с фоновым Каузатором (*Ветки звенят на морозе; Стекла звенели от проезжающих карет*)

ЗВЕНЕТЬ 2.2, процесс: без фонового Каузатора (*Звенят цикады*)

ЗВЕНЕТЬ 3, свойство (*Эти бокалы звенят, как колокольчики*)

Вправо от жирной линии в Таблице 1 находятся дополнительные разделы парадигмы, возникающие за счет того, что у каждого члена основной парадигмы могут быть свои семантические дериваты, менее регулярные. Они получаются при замене исходной, нейтральной Т-категории участника на некоторую специальную. Шифры для дополнительных членов парадигмы получаются за счет буквенных расширений. Например, *стучать* в значении 1, процесс-каузация (*Дождь стучит по крыше*), дает, в контексте целепологающего Субъекта, семантический дериват с контролируемой каузацией, деятельность (*Кто-то стучит в дверь*), шифр – 1к(онтролируемая каузация). От *свистеть* в значении 2.2 (*Свистит коростель*) образуется значение процесса, сопровождающего движение (*Свистят пули*), шифр 2.2д(вижение). От значения 2.2 регулярно образуется (когда Т-категория Субъекта – звук) бытийное значение; например, *Звенела музыка в саду* означает не столько процесс издавания звука, сколько наличие процесса в поле зрения (слуха) Наблюдателя; шифр – 2.2б(ытийное). Значение 3, свойство, в контексте Субъекта – устройства преобразуется в значение функционирования, шифр – 3у(стройство). Поскольку *выстрел* обозначает событие (сопровожаемое звуком), у *гремять* в контексте *Гремит выстрел* шифр 2.2с(обытие). Ср. также 2.2м(етафорическое) употребление *звенеть* (*Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит*).

Заметим, что шифр не обязан обеспечивать идентификацию значения: в парадигме могут быть две разные лексемы с одинаковым шифром. Например, у слова *хлопнуть* есть две лексемы с одним и тем же шифром 1к – ХЛОПНУТЬ (по плечу) и ХЛОПНУТЬ (= 'убить'). Отметим и другое отличие шифра от номера значения: наличие в парадигме лексемы с шифром 2.2 не предполагает обязательного наличия лексем с шифром 1 или 2.1.

Для различения значений слова мы предпочитаем использовать краткие пояснения – это может быть диагностический контекст, гипероним, Т-категория. Скажем, ЗВЕНЕТЬ (ключами) – это то значение *звенеть*, которое возникает в контексте типа *шел, звеня ключами*; а ЗВЕНЕТЬ (о музыке) – это как в контексте *Звенела музыка в саду*.

Члены парадигмы связаны отношением семантической деривации, и, в принципе, толкование для производной лексемы может быть получено модификацией толкования более исходной, см. Раздел 4. Для корневой лексемы формат толкования определяется Т-категорией. Например, для *звенеть* в значении 1, т.е. при Т-категории «процесс-каузация», толкование имеет следующую схему:

X *звенит* Y-ом (например, *Кони звенят уздечками*) =

Экспозиция – Источник (Y) находится в контакте с Каузатором (X)

Каузация – Каузатор (X) пребывает в движении;

Каузатор (X) воздействует на Источник (Y)

это вызывает

Эффект – Источник (Y) издает звук: такой, как...

Рамка – Наблюдатель слышит звук.

Наши толкования не ставят задачи точно охарактеризовать качество звука (например, отличить *грохотать* от *громыхать*, *шуршать* от *шелестеть*), если оно не отражается на сочетаемости глагола с достаточно крупными классами слов. Так что, как правило, мы ограничиваемся с х е м а м и толкования.

Обратимся к проблеме выбора корневой лексемы в парадигме глагола звука. Идеальные глаголы звука – это непроизвольные действия: в [Апресян 1995: 348] глаголы издавания звука *скрипеть*, *скрежетать* идут в одном ряду с глаголами *моргать*, *трепетать* (крыльями), *вилять* (хвостом), *блуждать* (глазами). Точнее сказать, эти глаголы обозначают непроизвольные п о с л е д с т в и я (действий, деятельностей, процессов, событий). Деятельность для многих глаголов звука производная категория, а для некоторых вообще исключена. В таком случае, естественная Т-категория корневой лексемы глагола звука – процесс-каузация (как в *Кони звенят уздечками*).

Другой претендент на роль корневой Т-категории в парадигме глагола звука – процесс (*звенят шпоры, гремит посуда, скрипят половицы*). Быть может даже более законный, поскольку некоторые глаголы звука (например, *шипеть, шуметь*) практически не имеют каузативной диатезы в стандартном не фразеологическом употреблении (**Паровоз шипит паром*). Мы, однако, принимаем за исходный член деривационной парадигмы лексему с каузативной диатезой, а значение процесса рассматриваем как результат семантической деривации, а именно, декаузативации. Дело в том, что в русском языке декаузативация – продуктивная словообразовательная модель (глагол на -ся можно даже трактовать как грамматическую форму от невозвратного глагола, ср. *катить – катиться*), а регулярных средств каузативации нет. Вообще, удобнее описывать изменение диатезы в направлении уменьшения числа участников.

Итак, за исходный член парадигмы принимается такое употребление глагола, когда звук представлен как получающийся воздействием внешнего Каузатора на Источник звука. Каузация может быть контролируемой и неконтролируемой, причем неопределенность не воспринимается как неоднозначность: во фразе *Он спускался по лестнице, звеня ключами* не только неизвестно, но и неважно, было ли издавание звука сознательным или произвольным, см. [Апресян 1974: 177].

Обратимся теперь к словам, у которых в парадигме значений есть лексемы разных тематических классов⁵. Здесь две возможности: глагол звука – исходный пункт семантической деривации и глагол звука – дериват. Так, глагол *тарыхтеть* в исходном значении – глагол звука (*Ванин мотоцикл ужасно тарыхтит; В сарае тарыхтит мотоцикл*), а в производном – глагол перемещения (*Мотоцикл тарыхтел по дороге*). С другой стороны, глагол *плескаться* в исходном значении – глагол перемещения (*плескал воду себе на грудь*), а в производном – глагол звука: *Море тихо плещет* = ‘вода, ударяясь обо что-то, издает звук’.

Если в парадигму слова входят лексемы разных тематических классов, в шифр лексемы добавляется римская цифра (она соответствует тематическому классу, который указан в соответствующем месте словарной статьи). Например, у *плескаться* в значении перемещения шифр начинается с I, а лексема звука имеет шифр II.2.2.

Семантические связи между глаголами разных тематических классов вполне естественны. Так, *грохотать, грохнуть* – глаголы издавания звука, но *грохнуть* может значить также ‘упасть’, ‘бросить / уронить с грохотом’. Слово *загряметь* в значении ‘упасть’ (*загрямел с лестницы*) – дериват от *гряметь*, хотя в нем компонент издавания звука становится уже необязательным.

Разумеется, даже при очевидной семантической связи между значениями слова не всегда можно говорить, что они образуют парадигму. Два значения одного слова могут быть близки, но не связаны никаким регулярным отношением семантической деривации; ср. глагол *засунуть*, который, согласно Малому Академическому Словарю, имеет два значения – ‘запихнуть’ и ‘положить так, что трудно найти’.

Поскольку значение лексемы существенно зависит от Т-категорий участников, требует пояснения Т-категория слова *голос*, которое, естественно, часто встречается в контексте глаголов звука. В своем первичном значении *голос* – это орган, предназначенный для издавания звука (орган можно определить как устройство / инструмент, составляющий часть тела⁶), т.е. то же, что *голосовые связки*, ср. *Чей-то голос прозвучал*.

⁵ Пересечение тематических классов – это неизбежность; но если классифицировать корневые лексемы семантических парадигм, пересечения можно сократить, если не устранить вовсе.

⁶ Аналогия между органом – частью тела человека и частью устройства проводится в [Щеглов 1964: 51]: «Орган – какая-то часть устройства (например, человека), которая совершает один и тот же круг действий (например, рука, разум, воля и т.д.)».

Кроме того, слово *голос* обозначает способность выполнять соответствующую функцию (ср. *голос пропал*). Такие слова, как *глаза*, *ум*, *память* обозначают одновременно орган и способность выполнять соответствующую функцию (*слабые глаза*, *острый ум*, *прочная память*), см. [Урысон 1997]; это регулярная многозначность. Голос как орган характеризуется прежде всего с точки зрения свойств издаваемых звуков, ср. *слабеет голос мой*; *голос мой отроческий зазвенел*, так что между органом и способностью трудно бывает провести границу. В любом случае, *низкий голос* – это как *острый ум*.

Во втором значении *голос* – это актуально издаваемый звук: *раздался, послышался голос*; *твой голос до меня не доходит*.

Поскольку орган – это инструмент, предназначенный для издавания звука, а инструмент – частный случай Источника звука, в категориях, релевантных для класса глаголов звука, *голос* – это Источник звука и одновременно сам звук. Контекст может снимать неоднозначность. Так, во фразе *Голос у нее звенит* глагол *звенеть* обозначает свойство Источника (как в *Эти бокалы звенят как бубенчики*), а в *вечернем воздухе звенели женские голоса* имеет бытийное значение, как в *Звенела музыка в саду*. При этом получается, правда, что фраза *Буду слушать твой голос* имеет две интерпретации, хотя по существу она однозначна.

Регулярная многозначность типа ‘источник звука’ – ‘звук’ объединяет слово *голос* с названиями музыкальных инструментов: все названия музыкальных инструментов (и их активных частей, например, *струна*) могут обозначать и самих себя и, метонимически, издаваемый звук, ср. *играю на скрипке* / *слышу скрипку*. И здесь та же паразитическая неоднозначность:

(4) *Гремят литавры* =

а) слово *литавры* обозначает Источник звука, и *гремят* имеет значение процесса с фоновым Каузатором;

б) *литавры* обозначает звук, и *гремят* имеет бытийное значение.

3. ДЕФЕКТНЫЕ ПАРАДИГМЫ

Ниже мы покажем, что у глаголов звука семантика корневой леммы дает возможность предсказать всю парадигму, а дефектность парадигмы имеет семантическое или какое-то иное объяснение.

Глагол *звенеть* имеет все четыре леммы, принадлежащих к обязательной части парадигмы, т.е. его обязательная парадигма полная. Примерно такая же парадигма у *греметь*, *грохотать*, *гудеть*, *скрипеть*, *трещать*, *стучать*, *шелестеть*, *шуршать*.

У *звенеть* обнаруживается следующий дефект в дополнительной части парадигмы, отличающий *звенеть*, например, от *свистеть* и, вообще, от всех других глаголов звука.

В контексте Субъекта, обозначающего устройство со специальным предназначением для издавания определенного рода звуков, этот глагол не употребляется в значении функционирования, а должен быть замещен своим ‘дальним родственником’ – *звонить*: сказать про звонок, что он не работает, можно только словами *Звонок не звонит*; а *Звонок не звенит* понимается исключительно в актуальном смысле. Дело в том, что значение свойства всегда производно от итератива, а *звонить* исторически – каузатив и итератив от *звенеть* (как *носить* – каузатив и многократная форма от *нести*). Таким образом, полная парадигма глагола *звенеть*, где значение функционирования выделено в отдельную строку, дефектна, и дефектность объясняется тем, что одна строка в парадигме *звенеть* заполняется глаголом *звонить*.

У глагола *скрежетать* значение свойства Источника только вынужденное – так сказать, форсированное (см. об этом ниже). Его основное значение – актуально текущий процесс:

(1) Колеса отвратительно *скрежатали* по щебню (Горький)⁷

Напротив, *дребезжать* чаще употребляется в значении свойства Источника (*пианино, голос дребезжит*); хотя и значение актуального процесса не исключено:

(2) Когда гремел мазурки гром, В огромной зале все дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслися, *дребезжали* рамы (Пушкин); Подвязанное снизу ведро ожесточенно *дребезжит* (Серафимович); *дребезжит* сдаваемая посуда (Бродский)

Глаголы *шелестеть* и *шуметь*, в норме, не имеют значения деятельности. Им свойственно обозначать эффект, сопутствующий деятельности, отсюда их преимущественно деепричастная форма. Практически не употребляется 1 лицо ед. числа: **Я шелещу*, **Я шумлю*. При употреблении в 1-м лице множ. числа чувствуется эмпатия к собеседнику:

(3) Мы тут *шумим* – наверное, вам мешаем.

У *шуметь* наиболее ощутимый среди глаголов звука оценочный компонент (шум – это плохо) и почти полное отсутствие спецификации звука⁸ – глагол абстрактный. Поэтому он не имеет участника Источник: Источник – это инструмент (не обязательно целепологающего субъекта), и как таковой он атрофируется в контексте абстрактных глаголов действия, ср. *На кухне гремят* (**шумят*) *кастрюлями*.

Синтаксис глагола *скрежетать* окрашен денотативной двойственностью ситуации. Условия, при которых возникает скрежет, могут варьироваться – скрежетать может единый предмет, состоящий из металлических частей, но тот же звук может получаться при ударах одного предмета о другой. Пример (4) демонстрирует соответствующие две диатезы *скрежетать*:

(4) а. Броненосец скрежетал *якорными цепями*;

б. Броненосец скрежетал *якорными цепями о причал*.

Здесь *о причал* – участник, который может быть назван Медиатором⁹: в контексте контролируемой каузации его роль близка к Инструменту, но, в отличие от типичного Инструмента, этот участник неподвижный, ср. *разбила очки о камень*; *бьется головой об лед*, *вытерла руки об подол*.

Денотативной двойственностью характеризуется и ситуация, описываемая глаголом *свистеть*. Свист может производиться двумя способами:

1) при прохождении струи воздуха под напором через узкое отверстие – оно участвует в издавании звука, но не может трактоваться как полноценный Источник (ни, тем более, как «инструмент для издавания свиста») и не оформляется твор. падежом; скорее это Место:

(5) ветер свистит *в проводах*; милиционер свистит *в свисток*;

2) при рассекании воздуха быстро движущимся предметом (*наотмашь свистнул шапкой*) и при трении; за счет этого употребления в парадигме *свистеть* есть лексема 2.1, процесс с фоновым Каузатором (*Свистят на осях колеса*; *Где-то свистнула дверь*).

У *стучать*, в отличие от *свистеть*, корневая лексема со значением процесса-каузации хорошо внедрена в лексикон, поскольку есть много предметов, которые издают этот звук под воздействием движущегося предмета. Неконтролируемый стук встре-

⁷ Здесь и далее мы используем в некоторых случаях примеры из словарей – Малого академического, Большого академического и Словаря языка Пушкина.

⁸ Некоторое ограничение на характер звука все-таки есть: шум всегда создается совокупностью разнородных звуков.

⁹ Медиатор понимается как гиперроль, выполняемая всеми участниками, которые 1) являются либо обычным Инструментом, либо пассивным посредником между Каузатором и Пациентом, и 2) либо сознательно используются Агенсом, либо невольно оказываются в таком положении.

чается в природе, а контролируемое употребление (например, *стучать в дверь, стучать соседу*) получается по общему правилу – слово переходит в тематический класс глаголов передачи информации, когда звук производится Субъектом с семиотической целью.

Глагол *звонить* не принадлежит к идеальным глаголам звука. Поэтому не удивительно, что в его парадигме отсутствует лексема корневой Т-категории: невозможно **Ветер звонил колоколом*. Основная Т-категория для *звонить* – деятельность (*Квазимодо звонит в колокол*); допустимо бытийное значение (*Звонят колокола*) и значение свойства (*Будильник не звонит* при одном из пониманий означает ‘не функционирует’). Кроме того, у *звонить* ограничение на Т-катеорию Источника – это может быть только устройство: *не звонит* может быть сказано только о звонке, будильнике, колоколе – при том, что *не звенит* можно сказать о любом предмете, (не)способном издавать этот звук. По этой причине *звонить* не допускает фонового Каузатора: звонить может только целепологающий субъект, а он не может быть фоновым Каузатором.

Глагол *звучать* тоже имеет дефектную парадигму, но совсем иную – парадигма у *звучать* начинается с бытийной лексемы, поскольку его Субъект однозначно идентифицируется таксономически как Звук. В самом деле, *звучать* – это своего рода конверсив к *слышать*; разница в том, что у *слышать* субъект восприятия выражается подлежащим, а у *звучать* им является Наблюдатель за кадром (так сказать, в рамке). В XIX в. глагол *звучать* еще мог иметь значение процесса-каузации, подобно идеальным глаголам звука:

- (6) Отрады конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча (Пушкин. «Полтава»)

У *звучать* есть два специфических значения, которые выходят за границы парадигмы глагола издавания звука – они заимствованы из семантического поля восприятия. В (7) звук не только доходит до Человека-Наблюдателя, но и осмысливается (этим Человеком) как выражающий нечто:

- (7) Каждое его слово *звучало* как упрек.

Значение *звучать* в (8) – конверсив к его значению в (7) (как в паре *я одолжил ему – он одолжил у меня*):

- (8) В его голосе *звучал* упрек.

Соотношение между бытийным *звучать* и *звучать* в значении осмысления, как в (7), такое же, как между обычным *видеть* и *видеть* в контекстах типа *он видит во мне конкурента*, для которого в [Апресян 1996] дается следующее толкование:

- А *видит* в У-е X = ‘Человек А имеет в сознании образ Y-а, наделенный свойством X’.

В парадигме глаголов звука есть и другие семантические дериваты, которые выявляют сходство глаголов звука с глаголами восприятия; они и в самом деле родственники – через Наблюдателя и соответствующий ему перцептивный компонент значения. Например, соотношение между бытийным *звенеть* (*Звенит песня*) и метафорическим (*Ее голос звенит у меня в ушах*) такое же как между обычным *вижу* и *вижу как сейчас*: во втором случае человек воспроизводит в сознании зрительный образ предмета, с которым в данный момент нет перцептивного контакта [Апресян 1996], тогда как у обычного *видеть* зрительный образ порождается зрительным же контактом Субъекта с воспринимаемым объектом.

Значения слова неравноценны: одни более независимы, другие возникают под влиянием контекста, т.е. являются вынужденными, окказиональными. В [Апресян 1995] вводится понятие синтаксически обусловленного значения, которое легко проиллюстрировать на глаголах звука. Так, в примере (9) *по дороге, по степи* – обстоятель-

ство, обозначающее Среду движения, и именно оно заставляет переосмыслить глагол звука как глагол движения¹⁰:

(9) Мотоцикл тарыхтел *по дороге*; Только пули свистят *по стене*.

Ту же роль играет *мимо* в (10)¹¹:

(10) Поезд громыхал в темноте *мимо запертых ставень* (Бродский).

В (9), (10) синтаксический актант не только обуславливает, но и **вынуждает** у глагола соответствующее значение. То же в примере (11) – благодаря управлению, возможному только для глагола речи, у *дребезжать* возникает значение ‘говорить дребезжащим голосом’:

(11) – Вставай, вставай! – *дребезжала* ему на ухо нежная супруга (Гоголь)

Не всегда, однако, легко понять, контекст ли обуславливает изменение значения, или изменение значения требует изменения синтаксиса. Так, переходя в класс глаголов сообщения информации, глагол приобретает свойственную этому классу валентность Адресата. Показателем перехода в иной тематический класс могут также быть: Объект (*щелкнуть* кого-либо), Результат – звуковой объект определенной структуры (*свистеть мелодию*), Инструмент: *бренчать на гитаре*. Будет ли значение глагола в этих контекстах синтаксически обусловленным?

Итак, мы заключаем, что между разными лексемами одного слова существуют регулярные семантические соотношения, что позволяет сопоставить слову не список, а парадигму лексем, связанных одна с другой продуктивными типами семантической деривации. В следующем разделе мы продемонстрируем возможности исчисления моделей семантической деривации в классе глаголов звука.

4. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ

Можно различить четыре типа семантических дериваций (в соответствии с выявленными ранее параметрами значения глагола):

I. Изменение тематического класса глагола.

II. Изменение Т-категории глагола.

III. Диатетический сдвиг, т.е. изменение коммуникативных рангов участников.

IV. Изменение таксономических, референциальных и прочих характеристик участника.

Теоретически, обобщенное описание семантических переходов, порождающих из исходного значения всю парадигму, дает возможность помещать в словарь только корневую лексему, лишь указывая наличие и тип производных и не давая им толкования. Разумеется, преобразование толкований одно в другое – это скорее теоретическая возможность, чем осуществимая реальность: о каждой лексеме в словаре, помимо толкования, должно быть сообщено и много других сведений, так что установление парадигматических связей между лексемами парадигмы не означает отмены соответствующих словарных статей. Однако по отношению к вынужденным, окказиональным употреблением возможность получать толкования с помощью своего рода грамматики лексикона представляется заманчивой.

I. Изменение тематического класса глагола

Глагол может принадлежать к данному тематическому классу своим основным значением (корневой лексемой парадигмы) и производным (семантическим дериватом).

¹⁰ У глагола *звучать* (в отличие от *звенеть*, *тарыхтеть*) издавание звука уходит в глубокий фон – на первый план выступает его восприятие Наблюдателем; поэтому в строках Пушкина *Язык Италии золотой звучит по улице веселой* предлог *по*, употребленный вместо более простого *на*, хоть и выражает движение, но едва ли это движение Источника звука – скорее это движется Наблюдатель.

¹¹ См. о *мимо* [Кронгауз 1996; Филипенко 1997].

Соответственно, глагол звука может быть выходцем из иного тематического класса, как *треснуть*, см. примеры (1), (2) ниже, а может иметь семантический дериват, принадлежащий к иному тематическому классу, как *хлопать* в значении движения в (5) и *стучать* в семиотическом значении в (6).

Меню тематического класса можно представить как смещение акцентов: эта семантическая деривация происходит в том случае, когда в значении глагола имеется по крайней мере два компонента, и преобразование сводится к тому, что периферийный звуковой компонент, который с о п р о в о ж д а л воздействие (или деформацию, перемещение и под.), становится центральным; или наоборот, звуковой компонент из центра уходит на периферию.

Семантическая деривация могла бы быть задана правилом, которое позволяет из толкования исходной лексемы получать толкование производной. Мы ограничимся схемой толкования исходного и производного члена деривационной пары – общее правило самоочевидно. Во всех примерах Раздела 4 пример (а) – исходная лексема, (б) – дериват; в кавычки заключены метаобозначения компонентов, которые задают тематический класс.

(1) «деформация / воздействие» ⇒ «звук такой, как при этой деформации / воздействии»:

(1) а. X треснул (например: *Банка треснула*) =

Экспозиция – X был целый

Фоновый каузатор – произошло нечто

это вызвало

Последствие – в X-е имеется разлом (Центр)

(Возможное последствие – X издал звук: треск (Периферия))

б. X треснул (например: *Что-то треснуло в овраге – это медведь*) =

Фоновый каузатор – произошло нечто (возможно – разлом в X-е)

это вызвало

Последствие – X издал звук: треск (центр)

Различие между (1а) и (1б) в том, что в (1а) в Центре находится событие – возможно, но не обязательно каузирующее звук, а в (1б) событие уходит в фон, и издавание звука становится центральным компонентом. То есть компоненты обмениваются коммуникативными ролями¹². Аналогично в (2):

(2) а. А стукнул X-а Y-ом (например: *Кого-то стукнули бутылкой по голове*) =

Каузатор – А действовал с Целью

: резким движением привел X в контакт с Y-ом

это вызвало

Результат – Y претерпел воздействие (болевое ощущение, деформация и под.)

(Центр)

(Возможное последствие – Y издал звук: стук (Периферия))

б. А стукнул X-ом по Y-у (например: *Он стукнул кулаком по столу*) =

Каузатор – А действовал с Целью

: резким движением привел X в контакт с Y-ом

это вызвало

Результат – Y издал звук: стук (Центр)

(Возможное последствие – Y (или X и Y) претерпел воздействие (Периферия))

Данный тип семантической деривации непродуктивен.

Заметим, что признание наличия у слова *стукнуть* двух лексем разных тематических классов – 1) воздействие (*стукнул палкой по голове*) и 2) издавание звука (*Кто-то тихонько стукнул в окно*) – наталкивается на трудности при аспектуальной идентификации этого глагола. Дело в том, что *стукнуть* в значении воздействия имеет производный итератив *стукать* (не *стучать*!); а у глагола звука *стучать*, как и у

¹² Ср. о дериватах этого рода в [Кустова 1995].

всех других глаголов звука, исходной является форма НСВ, и *стукнуть* – производный от нее СВ семельфактив¹³.

Аналогично с глаголом *треснуть*: он может иметь значение деформации (*Лед треснул в нескольких местах*) и издавания звука (*В лесу что-то треснуло*). Однако от *треснуть* в значении деформации ближайший НСВ – *трескаться*; так, *Лед трещит* означает прежде всего ‘издает звук’. Тем самым одна лексема *треснуть* корневая в поле глаголов деформации, а другая, со значением звука, – производный СВ, семельфактив от лексемы *трещать* из поля звука.

2) «звук» ⇒ «движение, сопровождаемое данным звуком»:

(3) а. Слышишь, как *тарыхтит* Ванин мотоцикл?

б. Мотоцикл *тарыхтит* по проселочной дороге.

(4) а. Стекла *звенели*; б. По улицам весело *звенели* трамваи.

(5) а. Не *хлюпай*; б. Два часа мы *хлюпали* по болоту.

В (5а) центральный компонент – ‘Х издает всасывающие или чмокающие звуки’; а схема толкования для (5б) –

Х действует: перемещается по Z-y (Центр)

это вызывает

Х (или Y, находящийся в контакте с X) издает всасывающие или чмокающие звуки (Периферия)

Деривация продуктивная, ср. глаголы *ахнуть*, *бахнуть*, *брякнуть*, *бухнуть*, *ухнуть*, *грохнуть*, *загреметь* и их производные.

3) «звук» ⇒ «использование звука в семиотической функции»¹⁴:

(6) а. Х *стучит* (например, *Стучат колеса*);

б. Х *стучит* в Z Y-у (например: *Я стучал соседям – никого нет*) =

Каузатор – Х действует с Целью: резким движением многократно приводит свою часть тела или инструмент в контакт с Y-ом или его окрестностью

это вызывает

Эффект, соответствующий Цели – Х производит звук; тем самым Х дает понять, что хочет контакта с Y-ом

Компонент ‘Х действует с Целью’ показывает, что дериват, принадлежащий к семиотическому полю, имеет категорию Деятельность. Деривация продуктивна: окказионально этой деривации может подвергаться любой глагол, в денотат которого хоть как-то входит издавание звука, ср. известное *Я не тебе плачу*.

Менее продуктивный переход – «издавание звука» ⇒ «воздействие, сопровождаемое данным звуком» (так, *треснуть* в значении ‘ударить’ образовано от глагола звука, а не деформации).

II. Изменение Т-категории глагола

1) «каузация процесса» ⇒ «деятельность».

Значение неконтролируемого процесса-каузации перейдет в значение деятельности, если добавить в семантическую формулу слова целевой компонент. Так, издавание звука становится деятельностью, если звук превращается в сигнал (приобретает семиотическую функцию), как в случае *стучать*, *звонить*¹⁵.

¹³ Такую же аспектуальную тройку составляют *бурчать*, *буркнуть* и *буркать* (все относятся к тематическому классу глаголов звука): от многоактного *бурчать* производный СВ семельфактив *буркнуть*, а от *буркнуть* НСВ с итеративным значением – *буркать*.

¹⁴ Т.е. в функции означающего по отношению к некоему означаемому.

¹⁵ Направление производности между лексемами с неконтролируемой и контролируемой каузацией у разных глаголов разное. В большинстве тематических классов исходная лексема имеет значение действия; тогда неконтролируемое значение возникает как производное (в контексте нецелелеполагающего субъекта), если ситуация такова, что целенаправленное воздействие не является необходимым условием возникновения результата, как у *разрушить* (в отличие от *построить*).

В формулу деятельности обязательно входит спецификация цели. В контексте наречий типа *нарочно*, *намеренно* или целевого показателя, как в (7), значение деятельности нельзя даже назвать синтаксически обусловленным – просто оно выражается от начала до конца не глаголом звука, а этими показателями:

- (7) нарочно *звенел* ключами, чтобы было не страшно.
2) «процесс испускания звука» ⇒ «свойство Источника испускать данный звук»:
(8) а. За стеной *дребезжит* пианино; б. Пианино *дребезжит*;

Деривация не чисто семантическая – она отражается в просодии: значение процесса и наличия процесса акцентирует источник звука или звук; тогда как реализация значения свойства требует акцента на глаголе.

III. Диатетический сдвиг

Глаголы издавания звука принадлежат к числу лабильных – глагол звука может употребляться как декаузатив самого себя: его Пациенс (а Источник звука – это Пациенс) свободно переходит в позицию Субъекта:

- (9) Кони *звонят* уздечками – Уздечки *звонят*;

Лабильность, вообще говоря, русскому языку не свойственна – как правило, переход Пациенса в позицию Субъекта требует возвратной частицы:

- (10) Река *разрушила* мост – Мост *разрушился*.

Закономерность, которая выявляется из сравнения примеров (9) и (10), состоит в следующем: если Пациенс – Объект, то в русском языке ему для перехода в позицию Субъекта обязательно нужно *-ся*. Между тем у глагола издавания звука Пациенс – периферийный участник; ему переход в позицию Субъекта не запрещен.

Возникает вопрос, почему Пациенс глаголов звука не является синтаксическим Объектом. Можно думать, что глаголы звука – это, по сути, глаголы создания; их внутренний Объект – звук, который, однако, остается невыраженным, инкорпорированным участником; отсюда тот факт, что слова типа *звон*, *щелбет* не являются названиями ситуации (ср. [Урысон 1996]): в своем первичном значении это имена внутреннего Объекта, Пациенса.

Диатетические сдвиги делятся на два класса:

А. Мена коммуникативных рангов собственных участников ситуации.

Б. Вовлечение в ситуацию несобственных участников.

А. Мена коммуникативных рангов

Диатеза лексемы представляет собой набор участников (в данной работе они заданы ролями), с указанием коммуникативного ранга каждого. Сокращения для рангов: *Сб* – Субъект, *Периф* – периферийный участник.

В парадигме глаголов звука абсолютную продуктивность имеет диатетический сдвиг, при котором процесс-каузация переходит в процесс с фоновым Каузатором; изменение диатезы следующее:

⟨Каузатор-Сб, Источник-Периф⟩ ⇒ ⟨Источник-Сб, Каузатор-Периф, факультативный⟩.

Примеры:

- (11) а. спускался по лестнице, бренча *мелочью*;
б. Не бренчи ты в кармане, *мелочь!* (Бродский)
(12) а. ветер гудит в *проводах*;
б. *Провода* гудят (от ветра).

Суть семантического сдвига видна из Таблицы 3 (нумерация строк – принятая в базе данных системы «Лексикограф»).

Формат процесса-каузации:

- 0) Источник в контакте с Каузатором
- 1) –
- 2) –
- 3) –
- 4) Каузатор находится в движении
- 5) Каузатор воздействует на Источник
- 6) это вызывает
- 7) Эффект: Источник издает звук
- 8), 9) –
- 10) Рамка: Наблюдатель слышит звук

Формат процесса с фоновым Каузатором:

- 0) (Источник в контакте с Каузатором)
- 1) (Каузатор находится в движении)
- 2) (Каузатор воздействует на Источник)
- 3) (это вызывает)
- 4) Источник издает звук
- 5) –
- 6) –
- 7) –
- 8), 9) –
- 10) Рамка: Наблюдатель слышит звук

Как легко видеть, вся разница в том, что компоненты, которые в формате процесса-каузации соответствуют переднеплановому Каузатору, в формате процесса с фоновым Каузатором уходят в фон, становясь периферийными (что выражено их перемещением из срединной части толкования в крайнюю) и факультативными (что выражено скобками).

Деривация продуктивная. В результате изменения диатезы возникает фоновый Каузатор – факультативный участник. Если в предложении нет соответствующего ему синтаксического актанта, компоненты в скобках стираются.

В [Апресян 1995: 348] группа *от* + сущ. в род. падеже отмечена как сочетаемостная особенность глаголов непроизвольного движения, т.е. как своего рода показатель непроизвольности:

Он блуждает (мигает, моргает) глазами *от яркого света*;

Больной скрипит (скрежещет) зубами *от боли*;

Птица трепещет крыльями *от страха*.

Лексемы со значением процесса издавания звука бесспорно имеют специальное предрасположение к такому управлению. Это их свойство выводится из толкования: фоновый Каузатор был Субъектом данного слова в исходной диатезе. Фоновый Каузатор возможен у глагола издавания звука не при всех его значениях: он отсутствует в контексте, где глагол выражает свойство: *Дверь скрипит, надо смазать* (в контексте *Дверь скрипит от малейшего прикосновения* лексическое значение у *скрипеть* – процесс, а не свойство).

Лексему со значением процесса без фонового Каузатора можно представить как полученную семантической деривацией совмещения ролей (трансформация, обратная расщеплению валентностей по [Апресян 1974]):

⟨Каузатор-Сб, Источник-Периф⟩ ⇒ ⟨Каузатор-Источник-Сб⟩.

Так, в (13) значение «активного» процесса (без фонового Каузатора) обязано своим существованием контексту такого Субъекта, который содержит Источник звука в себе самом (или является Источником звука, который приходит в активное состояние как бы сам по себе). Таким Субъектом может быть устройство, предназначенное для издавания этого звука, живой организм или природная сила:

(13) а. Ваня звенит ключами;

б. Звенят *цикады*.

Б. Вовлечение в ситуацию несобственных участников

Имеется две разновидности несобственных участников (таких, которые отсутствуют в корневой лексеме, но возникают в толкованиях производных) – инкорпорированные участники и сирконстанты (а также части, вместилища и другие атрибуты собственных участников).

1) инкорпорированный участник \Rightarrow эксплицитный участник.

В примере (14) *струны* становятся из инкорпорированного участника эксплицитным; значение глагольной лексемы одно и то же, а различие между двумя концептуализациями ситуации только коммуникативное:

(14) а. Звенела *гитара*; б. Звенели *струны* гитары.

В примере (15) есть дополнительное различие между (а) и (б):

(15) а. Он судорожно хрустел бумажками;

б. *Правая рука* его судорожно хрустела бумажками:

у одушевленного Субъекта всегда остается возможность контролировать ситуацию – смысл глагола не исключает этой возможности, а подстановка на место Субъекта его части тела делает движение однозначно неконтролируемым.

Значение, представленное примером (16), тоже включает переход инкорпорированного участника в ранг эксплицитных:

(16) Соколовская гитара до сих пор *в ушах* звенит.

Это участник Уши, имплицитруемый глаголом *слышать*, который неявно входит в толкование всех глаголов звука – через Наблюдателя слышащего.

2) Вовлечением в ситуацию несобственного участника можно назвать также ту семантическую деривацию, в результате которой местоположение Источника переосмысливается как Исходный пункт д в и ж е н и я звука по направлению к Наблюдателю – возникает дейктическая ориентация ситуации на Наблюдателя:

(17) *Сверху* гудит колокол;

(18) Колокольчик звенит *издалека*.

IV. Изменение Т-категории участника

Изменение значения глагола может быть обусловлено изменением категории участника. Ниже стрелка \rightarrow обозначает замену исходной Т-категории на производную.

1) материальный предмет \rightarrow издаваемый им звук:

(19) а. *Посуда* гремит; б. Гремит *музыка*.

В результате этого категориального сдвига у глагола возникает бытийное значение. У лексемы с бытийным значением все компоненты, связанные с возникновением звука, отходят в фон: звук уже существует – он обозначен синтаксическим актантом глагола; ассертивным становится компонент 'Наблюдатель слышит звук'.

Метонимическая связь между источником и звуком столь тесная, что, в нарушение закономерности самого общего характера, одно слово может быть употреблено в предложении одновременно в двух своих значениях (эта возможность отмечена в [Шмелев 1973: 220]). Так, в (20) *пианино* в его отношении к сказуемому *бередит* должно обозначать не сам музыкальный инструмент, а его звук, поскольку только звук может воздействовать на слух; между тем *разбуженное* относится к инструменту¹⁶:

(20) Одним пальцем *разбуженное пианино* бередит слух (Бродский)

2) звук \rightarrow событие / процесс, которым сопровождается издавание данного звука:

(21) а. Гремит *музыка*; б. Гремит *выстрел*.

В (21а) Субъект – звук, и значение глагола сводится к указанию на наличие процесса издавания звуков определенного вида. В (21б) Субъект – событие, сопровождающееся издаванием звука; предложение утверждает поэтому наличие не только звука, но и события. Похоже в примере (22) – с той разницей, что шаги сопровождаются издаванием данного звука с меньшей очевидностью:

¹⁶ Проблема совмещения метонимически связанных значений обсуждается в [Перцов 1996].

(22) Морозно, остро пахло зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые *шаги*.

Видимо, дело было так, что шаги по морозному снегу сопровождались хрустящим звуком.

Изменение Т-категории участника требует модификации схемы толкования глаголов процесса (ср. о модификациях толкования в [Баранов, Плулунгян, Рахилина 1993]): если Субъект процесса – устройство, специально предназначенное для подачи сигнала, издавание звука имеет семиотическую цель (*звенит будильник, звонок; звонит колокол*), и в толковании к компоненту 'Наблюдатель слышит звук' должен быть добавлен компонент 'Наблюдатель воспринимает сигнал'. Модификация толкования требует контекст Субъекта, называющего устройство или инструмент, у которого издавание звука свидетельствует о том, что идет определенный процесс (*скрипят перья, трещит пулемет, свистят пули*) или произошло определенное событие (*щелкнул курок*).

Формат толкования глагола свойства в исходном виде (например, в контексте *Эти бокалы красиво звенят*) таков:

Источник обладает свойством:

когда находится в контакте с Каузатором [презумпция]

это вызывает:

Источник издает звук: такой, как... [ассерция]

В контексте, где свойство приписывается устройству общего рода (например, *Кран свистит*), толкование упрощается:

Источник обладает свойством:

когда функционирует [презумпция]

это вызывает:

Источник издает звук: такой как... [ассерция]

В контексте, где Субъект – устройство, предназначенное для издавания звука (например, *Пианино дребезжит*), единственным ассертивным компонентом глагола остается качество звука:

Источник обладает свойством: издает звук [презумпция]

: такой, как... [ассерция]

5. МЕТОНИМИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСЫ, НЕ ПОРОЖДАЮЩИЕ НОВЫХ СЛОВАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Участники ситуации издавания звука могут быть связаны отношением части и целого, что служит основой для метонимических замен. Известные примеры метонимии:

(1) Веселым треском / Трещит затопленная *печь* (Пушкин. «Зимнее утро»);

(2) *Стаканы* пенились и шипели беспрестанно. (Пушкин «Выстрел»)

Звук реально издает не печь (не стаканы), а находящиеся в ней – или составляющие ее часть – поленья (шампанское). Аналогичную трактовку можно предложить для (3), где (а) и (б) связаны как вместилище и содержимое:

(3) а. *Магнитофон* гудит; б. *Вся квартира* гудит (от этого магнитофона).

Глагол *гудеть* в (3б) имеет обычное значение процесса (с фоновым Каузатором), но за счет метонимического переноса: говорящий представляет квартиру как единый источник звука.

Обозначение Источника звука в примерах типа (1) – (3) подчиняется самым общим правилам метонимического переноса; так что эти употребления не требуют расширения набора словарных значений слов.

Сложнее, когда есть двое участников, из которых один часть другого:

(4) а. *На броненосце* грозно скрежетали *якорные канаты*;

б. *Броненосец* грозно скрежетал *якорными канатами*.

При переходе от (4а) к (4б) происходит метонимический сдвиг, который меняет коммуникативные ранги и семантические роли участников ситуации. Участник *броненосец* в (4б) допускает двоякую ролевую интерпретацию:

1) как расширенный Источник; звук представляется как исходящий не от канатов, а от броненосца в целом (*канаты* – место максимального сосредоточения звука); глагол *скрежетать* в этом случае употреблен в значении процесса, каузируемого извне – фоновым Каузатором;

2) как Каузатор, воздействующий на Источник звука; тогда у *скрежетать* значение процесс-каузация.

Таким образом, предложение (4б) неоднозначно. Контекст может усиливать различие между "трансформами"; так, в (5а) злобность приписывается мотору, а в (5б) – мотоциклу:

- (5) а. Неисправный мотор мотоцикла злобно *тархтел*;
б. Мотоцикл злобно *тархтел* неисправным мотором.

Вторая трактовка для (4б), однако, предпочтительна; она поддерживается тем, что броненосец – транспортное средство, т.е. способен двигаться как бы самостоятельно. А части транспортных средств могут трактоваться как отдельные сущности, испытывающие каузацию со стороны Целого; например:

- (6) Экстренный поезд, *скрежеща* тормозами, остановился;
Танки двигались к вокзалу, рыча моторами, *скрежеща* гусеницами.

Чем меньше каузативной способности у Субъекта, тем менее вероятна каузативная интерпретация глагола. Так, в (7б), где целое (лодка) не воздействует на часть (днище), значение глагола однозначно процессное:

- (7) а. *Днище лодки* скрежетало о камни; б. *Лодка* скрежетала *днищем* о камни.

При этом (7а) и (7б) почти синонимичны. Аналогичная синонимия в (8):

- (8) а. Острый *конец весла* задел подол ее платья;
б. *Весло* задело своим острым *концом* подол ее платья.

В примере (9б) Субъект не может трактоваться как Каузатор (поскольку он неподвижен); но будучи Целым по отношению к Источнику-Части, он понимается как расширенный Источник, т.е. участник, вовлеченный в ситуацию в результате метонимического переноса. Глагол имеет значение процесса:

- (9) а. Ветки *деревьев* слабо звенели; б. *Деревья* слабо звенели *ветками*.

Аналогично в (10б):

- (10) а. Стремена *конной статуи* звенели;
б. *Конная статуя* звенела *стременами*.

Возможности метонимического переноса зависят от типа участника. Так, предложение *Щелкнул затвор ружья* не трансформируется в *Ружье щелкнуло затвором*: с одной стороны, *ружьё* не может быть Каузатором (не оно каузирует щелчок); с другой стороны, затвор слишком инструментален, чтобы быть просто местом щелчка.

Часть тела одушевленного субъекта может обозначать и отдельную сущность, испытывающую воздействие (тогда она трактуется как Источник, а субъект – как Каузатор), и просто часть, обозначение места. Отсюда возможность двоякого понимания (11б); *больной* может пониматься либо как Каузатор издаваемого звука, и тогда *зубы* – Источник, либо как расширенный Источник:

- (11) а. Зубы у *больного* скрежетали;
б. *Больной* скрежетал *зубами*.

Интерпретация твор. падежа зависит и от семантики глагола. Так, в ситуации, обозначаемой глаголом *свистеть*, как уже говорилось, звук издается не Инструментом, а

Местом; поэтому в (12) Субъект – расширенный Источник, а твор. падеж обозначает его активную часть, Место:

(12) Старик свистит *всей грудью*.

Из рассмотренных примеров видно, что так наз. трансформация расщепления – это метонимический (а иногда и метафорический) сдвиг, который никогда не сохраняет неизменным концепта ситуации. Если же Субъектом становится такой участник, со стороны которого можно допустить хотя бы частичный контроль над ситуацией, то значения трансформов просто разные; так, *Платье на красавице шелестело* ≠ *Красавица шелестела платьем* (пример из [Апресян 1974]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы пытались показать, что значение слова может быть представлено как парадигма лексем, порождаемая общими моделями семантической деривации. Понятие парадигмы дает возможность восстановить единство слова. Носитель языка не чувствует контекстно обусловленных сдвигов значения и регулярной многозначности – в значительной степени она является следствием несовершенства нашего способа представления смысла слова. На очереди дня стоит разработка такой структурной формулы слова, которая позволила бы предсказывать, как слово будет реагировать на контекст; какие семантические компоненты оно готово к себе присоединить и какие – отбросить; какими разными сторонами эта структура может поворачиваться так, что одни компоненты уходят в тень, а другие выступают на свет; как ее компоненты могут разворачиваться во временную последовательность, и т.д.

В нашей работе был предложен динамический подход к семантике слова – мы пытались выявить контексты, релевантные для значения слова, и проследить изменение исходного значения под влиянием контекста.

Контекстные сдвиги значения никогда нельзя полностью отразить в словаре; они постоянно происходят в тексте, и их надо описывать общими правилами. Различие между лексемами в парадигме семантической деривации описывается такими же модификациями толкования, какие происходят под влиянием текстового контекста.

В работе [Перцов 1996: 46] фраза *Все мы вышли из гоголевской «Шинели»* приводится как пример употребления, которое не находит себе места в списке Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995: 493], где для слова *выйти* предусмотрено 19 лексем. Пример Н.В. Перцова можно развить. Дело в том, что знаменитая фраза неоднозначна. С.Г. Бочаров [Бочаров 1985: 169] пишет о Достоевском, имея в виду его нарочитое подражание Гоголю, скорее всего, с целью отталкивания: "Новый писатель «выходит» из Гоголя... и в одном и в другом значении этой амбивалентной формулы". Ясно, что моделировать способность говорящих легко справляться с такими употреблениями слов может только "динамический" словарь, ср. [Pustejovsky 1998].

Динамическое устройство словаря имеет и другие преимущества перед перечнем значений. Инвентаризация семантических дериваций нужна не только для синхронной, но и для диахронической семантики: в ходе исторического развития языка происходят, вообще говоря, те же семантические переходы, которые мы наблюдаем в синхронии.

В синхронном плане на каждом шагу сталкиваются норма и живой процесс новообразования, при котором продолжают действовать те же механизмы, что и в узаконенных словарных значениях слова. При динамическом подходе вопрос о том, какие значения отражать в словаре, становится в чистом виде вопросом о норме, а не проблемой полноты описания*.

* Автор искренне благодарен коллегам, которые принимали участие в обсуждении работы, в том числе участникам Семинара под руководством Ю.Д. Апресяна в Институте проблем передачи информации, а также Анне А. Зализняк, Е.В. Рахилиной, М.В. Филипенко, Н.Р. Добрушиной, Н.М. Якубовой.

- Апресян Ю.Д. 1974 – Лексическая семантика. М., 1974.
- Апресян Ю.Д. 1996 – О толковом словаре управления и сочетаемости русского глагола // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.
- Апресян Ю.Д. 1997 – Лингвистическая терминология Словаря // Ю.Д. Апресян и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997.
- Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. 1993 – Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.
- Булыгина Т.В. 1980 – Грамматические и семантические категории и их связи. В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Зализняк А.А. 1967 – Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Зализняк А.А. 1978 – Краткий русско-французский словарь. М., 1978.
- Иорданская Л.Н., Мельчук И.А. 1996 – К семантике русских причинных предлогов // Московский лингвистический журнал. 1996. № 2.
- Мельчук И.А. 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл (\Rightarrow) Текст". Ч. 1. Семантика, синтаксис. М, 1974.
- Мельчук И.А., Жолковский А.К. 1984 – Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
- Мельчук И.А., Холодович А.А. 1970 – К теории грамматического залога // Народы Азии и Африки. 1970. № 4.
- Кронгауз М.А. 1996 – Приставки и глаголы: грамматика сочетаемости // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1996.
- Кустова Г.И. 1994 – Глаголы изменения: процесс и наблюдатель // Научно-техническая информация. Серия 2. 1994. № 6.
- Кустова Г.И. 1995 – Импликативный потенциал значения и семантическая производность // ДИАЛОГ'1995.
- Кустова Г.И., Падучева Е.В. 1994 – Словарь как лексическая база данных // ВЯ. 1994. № 4.
- Падучева Е.В. 1997 – Семантические роли и проблема сохранения инварианта при лексической деривации // Научно-техническая информация. Серия 2. 1997. № 1.
- Падучева Е.В., Розина Р.И. 1993 – Семантический класс глаголов полного охвата // ВЯ. 1993. № 3.
- Перцов Н.В. 1996 – О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996.
- Урысон Е.В. 1995 – Ум 1, разум, рассудок, интеллект // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.
- Урысон Е.В. 1996 – Синтаксическая деривация и «наивная» картина мира // ВЯ. 1996. № 4.
- Филипенко М.В. 1997 – Об иерархии характеристик в высказывании (к анализу адвербиалов – определителей процесса) // ВЯ. 1997. № 5.
- Шмелев Д.Н. 1964 – Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
- Шмелев Д.Н. 1966 – Об анализе семантической структуры слова. // Zeichen und System der Sprache. Bd. 3. Berlin, 1966.
- Шмелев Д.Н. 1973 – Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
- Щеглов Ю.К. 1964 – Две группы слов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1964. № 8.
- Jackendoff R. 1993 – Semantic structures. Cambridge (Mass.). 1993.
- Mel'chuk I.A. 1988 – Semantic description of lexical units in an Explanatory Combinatorial Dictionary // International journal of lexicography. 1988. V. 1. № 3.
- Pustejovsky J. 1988 – Generativity and explanation in semantics // Linguistic inquiry. 1988.
- Wierzbicka A. 1980 – Lingua mentalis. Sydney, 1980.

© 1998 г. К.А. ПЕРЕВЕРЗЕВ

ВЫСКАЗЫВАНИЕ И СИТУАЦИЯ: ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА*

I

Проблема "высказывание и ситуация" не нова. Она постоянно возникала в лингвистике, философии, логике, философии языка и логическом анализе и не перестает беспокоить специалистов названных областей. За длительную историю постановки этой проблемы намечилось несколько путей ее конкретизации. Ее заменили комплексы проблем. Они следующие: (1) общие принципы концептуализации действительности и вопросы онтологии – предметной области приложения естественного языка; (2) понятия "мир", "ситуация" в философском, логическом и лингвистическом аспектах, формы проявления этих понятий в языке и их эвристическая ценность как элементов метаязыка философской логики, философии языка и лингвистики; (3) особенности восприятия и фактор знания (информированности) о действительности в формировании высказывания и его связи с ситуацией (миром); (4) вопросы референции предложения, его компонентов и производных от него имен и конструкций; (5) проблема истинности высказывания и вопросы тождества.

Настоящая статья посвящена тем сторонам взаимоотношения языковых единиц и описываемых ими реалий, которые составляют предмет исследования в логико-философских концепциях языка. Основное внимание мы уделим первым четырем проблемам из приведенного выше списка. (Последний, пятый, пункт к философии языка и лингвистике отношения не имеет: это проблема логики.) А главным вопросом (который можно считать универсальным для всей перечисленной проблематики) будет вопрос об объеме и границах лингвистической онтологии.

В качестве исходных мы принимаем следующие допущения: (1) о первичной роли фактов языка как средства концептуализации мира в установлении номенклатуры, структуры и способов связи онтологических объектов; и (2) о существовании внутри языковой системы особых областей ("подсистем", "подъязыков", или "дискурсов" – в смысле Ю.С. Степанова [Степанов 1994; 1995]), в терминах которых описываются конфигурации этих объектов, т.е. особых "языков объектов", на которых о них говорят¹.

Начнем с истории проблемы. Начальной датой в ее хронологии будем считать 1880-е годы (если не прямо 1880-й г.), когда одновременно и независимо друг от друга появились две сопряженные работы – М.И. Каринского в России и Г. Пауля в Германии.

М.И. Каринский ("Классификация выводов"), рассматривая проблему с точки зрения логики, фактически – хотя и в других терминах – указывал на то, что субъект и предикат неодинаково ориентируют суждение в экстралингвистическом пространстве.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 97-06-80095.

¹ Попутно заметим, что выражение "язык объектов" здесь, конечно, не тождественно термину "объектный язык", применявшемуся в логико-лингвистических концепциях неопозитивистов 1930–40-х гг.

В субъекте суждение соотносится с "миром", а в предикате – с мыслью о мире; иначе: субъект устанавливает связь суждения с материальным, вещным миром, а предикат – с ментальным миром. "Определенное понятие, – писал М.И. Каринский, – соединяемое с термином подлежащего, вовсе не есть субъект суждения, а представляет только некоторые из его свойств и отношений и имеет особое назначение выделять этот предмет из других, указывать на него". Напротив, предикат указывает "признак, теперь прилагаемый к предмету, все равно на основании ли только что сейчас добытых нами сведений о нем, или на основании сведений, приобретенных нами ранее" [Каринский 1956: 62]. Г. Пауль как истинный "младограмматик" в соответствии с младограмматической теорией последовательно "удваивает" значение терминов "предложение", "субъект", "предикат", разлагая его на психологическое содержание, с одной стороны, и на логико-языковое – с другой [Пауль 1960].

Можно сказать, что в этих подходах, а особенно у М.И. Каринского, в начальной форме, синкретически, представлено все последующее разложение проблемы: разделение семантики и референции; противопоставление имен и дескрипций; оппозиции суждений (а также их частей) по "знанию через описание" и "знанию через непосредственное знакомство" и т.д.

Следующим этапом истории условимся считать некоторые тезисы Л. Витгенштейна и 1921 год – время выхода его "Логико-философского трактата", где частные формулировки проблемы "высказывание и ситуация" были обобщены тезисной формулой: "Конфигурация простых знаков в знаке-предложении соответствует конфигурации объектов в определенной ситуации" [Витгенштейн 1994: 12, 3.21]. С проникновением в лингвистику логико-философских идей, в нее вошли идеи Витгенштейна. Восприняв указанный тезис, лингвистика не приняла его.

Для логики, однако, эта формула сыграла роль инструкции в создании новых теорий. А основанная на ней концепция языка – "образная модель языка", – с установлением пределов ее применимости, была объявлена "одной из моделей функционирования нашего (имеется в виду естественного – К.П.) языка" [Хинтиikka 1980: 54]. В недавней работе Е.Д. Смирновой этот круг вопросов поднимается вновь. Автор пишет: "Ключом к принимаемому истолкованию предложения служит *особая трактовка образа и отношения отображения*. Речь идет не о "сходстве", "похожести" образа и отображаемого, а о *конструировании согласно правилу*. Образ понимается как модель, проекция, и правило является законом проекции" [Смирнова 1996: 295]; "Правила, относящиеся к пропозициональному знаку... таковы, что предложение должно порождать то, что он [Витгенштейн] называет связью вещей (Sachverhalt)" [Там же: 296]. Трактовка предложения у Витгенштейна стимулировала создание различных по своей "идеологии" теоретико-модельных семантик – семантики возможных миров [Хинтиikka 1980] и разных версий ситуационной семантики (см., например [Barwise 1989; ST 1993]).

Теперь обратимся к положению дел в лингвистике. Здесь витгенштейновский тезис был снят, но его презумптивная часть устояла. Это была мысль, высказанная еще М.И. Каринским, о необходимой связи высказывания с миром. Она приобретала, например, такую формулировку: «Референтом высказывания является ситуация, т.е. совокупность элементов, присутствующих в сознании говорящего в объективной действительности, в момент "сказывания" и обуславливающих в определенной мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания» [Гак 1973: 358]. Внимание к синтаксическому аспекту этого отношения вылилось в создание денотативной (референтной) концепции значения предложения. (Ее обзор представлен в работе [Арутюнова 1976: 6–9].)

Итак, "чувство реальности" не покинуло лингвистику. Оно упрочилось и с переносом в лингвистику вопросов референции, и особенно – наиболее спорных аспектов этой теории: референции предиката и выражений с непредметными значениями (ср. [Падучева 1986; Арутюнова 1988: 153–154]). Однако, в отличие от логики, в лингвистической традиции исследование референтной функции высказывания не подчи-

нялось задаче его квалификации в терминах истины и лжи. Классическое определение истины (сформулированное еще в логике Аристотеля) состояло в простом соотношении содержания суждения (высказывания) и положения дел, что делало истинность малопривлекательным понятием для лингвистики.

Обратившись к проблемам референции, лингвистика во многом унаследовала пути анализа и понятийный аппарат, уже сложившиеся к этому времени в логических исследованиях. В самой же логике наблюдались аналогичные тенденции в области метода: логический анализ стал сопровождаться переводом проблемы в план языка с естественным подключением на этом этапе лингвистической методике. Результаты такого взаимодействия известны. Логический анализ каузальных отношений, перенесенный в область языковых выражений причинности и, в частности, в сферу их дистрибуции, дал лингвистике новую семантическую категорию – "факт" – и оппозицию "факт vs. событие". Но ведь введение этого противопоставления в онтологию причинности началось с определения ему места в онтологии естественного языка. Таково было направление поиска З. Вендлера [Вендлер 1986]. И этот поиск нельзя считать завершенным; ср. недавние работы [Степанов 1995; Asher 1993].

Открытие категории "факт" не только помогло исследователям в определении референтного статуса целого класса выражений языка – неполных пропозитивных номинализаций (и их смысловых эквивалентов). Оно в очередной раз продемонстрировало ущербность понятий онтологического круга в лингвистическом метаязыке. Стало очевидно, что отрезок действительного мира нельзя называть "событием", как и факты реальной жизни (которым, заметим, отводилось место в исследованиях языка; ср. понятие факта у Рассела) – "фактом". И то, что можно назвать "ситуацией", не сводится к сумме "сырых" фактов, действий, состояний, процессов или событий. Лингвистике должны быть малоинтересны данные "беспристрастной" действительности: она рассматривает мир в модальности субъекта. Онтологией языка является не то, что обретается "за окном", а то, что конструируется (концептуализуется) языком – а также, при участии языка, его носителями и нами, лингвистами, – в этом законном пространстве.

Взгляды субъекта на мир многообразны. Достижения лингвистических и логических систем в числе прочего состояли и в изобретении способов для их различения. В истории наук этому сопутствовало осознание одного важного положения. В философской логике значительный вклад в его оформление внесли Г. Фреге и Э. Гуссерль. Их работы были направлены против психологического направления, сложившегося в логике XIX в. Коротко говоря, суть этой установки, разделяемой многими современными исследователями, в следующем. В наблюдениях над действительностью, получении информации и высказываниях о ней реализуются две фундаментальные способности человека – восприятие и речь. В их формальном представлении на передний план выступает фигура познающего субъекта. Однако анализом биологических и психических механизмов получения, хранения и обработки знаний ни логика, ни лингвистика не занимаются. Классическая логика всегда рассматривала знание в связи с правилами логического вывода и способами рассуждения – в отвлечении от психических структур сознания [Смирнова 1996]. В лингвистической философии и логическом анализе проблемы знания и его субъекта вылились в анализ эпистемических контекстов и эпистемологических координат суждений (высказываний) в соотносительности с общим фоном разноплановых знаний субъекта. Не остался без внимания и тот факт, что в речи человек стремится не только к отражению действительности, но и к самовыражению. Его осознанию во многом способствовало появление прагматики. На сегодняшний день во всех областях, претендующих на логическую формализацию результатов собственных исследований, распространилась идеология логических моделей, возникшая как реакция на недостатки психологизированных теорий [Петров, Переверзев 1993: 7–12]. Она опирается на способы фиксации в языке внутренних состояний субъекта, но отвлекается от конкретных обстоятельств использования языка для выражения отдельных внутренних состояний.

Итак, индивидуализация речи связана с конкретными прагматическими условиями употребления языка. Напротив, индивидуализация восприятия и знания – логические параметры, стимулирующие обращение исследователей к логической организации высказываний в аспекте пропозициональных установок, ответственных за отнесенность содержания высказываний к миру. Переключение интереса логиков со структуры пропозиции на ее модальное окружение означало конец "домодальной эры" в логической семантике. Прагматизация логических теорий началась с ревизии главного для логики понятия истинности и предела онтологии. Поворот "от фактов к факторам" – условиям, месту, времени высказываний, лицам, их высказывающим, фактору знания и прочим "обстоятельствам" – не только в очередной раз создал опасность узкоэмпирического, психологического истолкования логики, но – в рамках логического представления высказывания – обогатил логику новыми выразительными возможностями. Отказ от корреспондирующей концепции истины предложения и релятивизация этого понятия на множестве возможных миров; введение возможного мира в качестве универсального объекта рассмотрения, имеющего свой язык, – эти и другие успехи логики способствовали ее сближению с лингвистикой. Настоящая статья задумана как развитие логико-лингвистической и эпистемологической проблематики возможного мира.

* * *

Наш разговор о восприятии и получении информации в разделах II и III будет происходить одновременно в двух уровнях. С одной стороны, его предметом являются перцептивные ситуации и уровни знаний, а с другой – способы представления этих явлений и экстраполяция полученной модели эпистемических структур в метатеорию философии языка и лингвистики.

Несколько слов об основных понятиях и терминах. Термины "событие" и "факт" употребляются нами как имена логико-семантических категорий и как названия соотносительных с этими категориями типов онтологических объектов. Их смысл конвенциализован.

Понятие "возможный мир" взято нами в качестве исходного в том виде, какой оно приобрело в семантике возможных миров. Возможными мирами мы называем ментальные модели действительного (или воображаемого) мира, возникающие в ситуациях восприятия, получения информации и построения высказывания и существующие в полном описании мира на правах альтернатив. Для обозначения информационных процессов, имеющих место при восприятии мира и обуславливающих пути его концептуализации (и внутреннее содержание ментальной модели), мы используем термин эпистемический мир. Описание мира – семантический мир – состоит из отдельных выражений, принадлежащих разным аспектам структуры высказывания, или множества таких выражений, гармонизированных между собой в системе, или дискурсе. Их конфигурация определяет языковые рамки и формы выражения возможного мира [Степанов 1995]. Мы получили три системы терминов. Атрибуты "возможный", "эпистемический" и "семантический" в названии объекта есть смысл употреблять рядоположно, пока нет необходимости их разделять. Но они не синонимичны: за каждым термином стоит особая сторона объекта – мира.

Использование понятий возможного, эпистемического и семантического мира дает нам способ систематического изучения как заявленной в названии статьи проблемы, так и смежных с ней аспектов метатеории – предметной области (онтологии) лингвистики и философии языка, новых принципов классификации языковых значений, лингвистической части теории референции и др.

Пусть у читателя при знакомстве со статьей не создается впечатление чрезмерной увлеченности ее автора "миропорождением". На самом деле "возможные миры" не столь многочисленны, сколько разнообразны в статье их названия. Их ряды не беспределельны: выражения "мир-1", "мир-3", "мир планеты Венера", "мир полного знания" и

т.п., встречающиеся всюду по тексту, – суть лишь этикетки, создаваемые ad hoc для удобства описания. Их пестрота вызвана нашей потребностью не просто наметить конфигурации онтологических, эпистемологических и семантических сущностей, но и, с большей долей детализации, показать различия во внутренней организации конфигураций. Большое число "миров" также объясняется разнородностью привлекаемого в статью языкового материала. И в конечном счете оно легко поддается редукции. Миры "складываются", подобно матрешке: более универсальные, семантически и онтологически значимые понятия, наделяемые категориальным статусом, включают более мелкие, область приложения которых – класс или даже отдельная группа объектов. Так, "мир планеты Венера" – в том смысле, какой мы вкладываем в это выражение и стоящее за ним понятие, – это конкретное проявление семантических черт "мира полного знания" в области именных классификаций. Точнее – в той подобласти имен, которая представлена выражением планета Венера и противопоставленными ему – Утренняя звезда, Вечерняя звезда, Геспер и Фосфор. В сфере синтаксиса каузальных отношений, а также в эпистемических вариациях самого принципа причинности "миру полного знания" соответствует, в нашем изложении, "мир-1". Здесь же другие индексы при слове мир – "2" и "3" – призваны отграничить онтологические и семантические последствия наступления иных эпистемических состояний, т.е. отделить миры и ситуации в какой-то степени ограниченного знания. В применении "бритвы Оккама" может быть выбран щадящий режим.

II

Переход от наблюдаемой ситуации к формам субъектно-предикатной структуры суждения и высказывания в актуальной коммуникации поэтапен. Начальные этапы – этапы восприятия (получения информации) и концептуализации ситуации – дают толчок умножению альтернативных способов ее языкового обозначения. Именно поэтому говорят, что одна реальная ситуация может получать разные речевые номинации сколь угодно большое число раз, оставаясь – все в том же реальном мире – тождественной самой себе.

Сначала мы хотим, отбросив содержательные аспекты этих этапов, обратить внимание на способ их лингвистического представления. В известных работах они моделируются в логических терминах. (Разумеется, речь идет лишь о лингвистически релевантных моделях этого процесса, в отвлечении от психологической конкретики – описаний операциональных механизмов мозга, памяти и др.) Зависимость от логического аппарата отчетливо видна в описаниях условного результата начальных этапов – "доязыкового" продукта, получаемого на выходе сконструированной исследователем модели. Например, в работе М.Б. Бергельсон и А.Е. Кибрика [Бергельсон, Кибрик 1981: 346]: "Различные способы восприятия одного и того же фрагмента действительности связаны между собой определенными логическими отношениями (выделено мной. – К.П.), исчисление которых представляет, по видимому, одну из наиболее трудных задач в описании человеческого поведения". Этот фрагмент (как и статья М.Б. Бергельсон и А.Е. Кибрика в целом) актуализирует в ситуации восприятия лишь те ее элементы, которые имеют непосредственное отношение к механизмам языковой номинации фрагмента действительности, с одной стороны, и к функционированию последних в речи, с другой. Неотмеченным же остается другой фокус интересующей нас проблемы, а именно: соотношение фрагмента действительности, способа его восприятия и динамики получаемых информационных структур. С этим фокусом проблемы согласуется и следующее теоретическое допущение – о роли языковых форм выражения отрезка действительности (в частном случае – роли предложений) в представлении способов и результатов восприятия.

В поисках логической модели восприятия (модели целостной проблемной ситуации) мы обратимся к логике. Напомним, что мы разделяем мнение ведущих "лингво-логиков": "Необходима не прямая формализация всех мыслимых и немисли-

мых внутренних состояний (субъекта речи. – К.П.), а логическая модель этих состояний и всего "внутреннего мира" интеллектуального субъекта в целом" [Петров, Переврзев 1993: 12]. Классическими в плане разработки репрезентативной логики восприятия можно считать работы Я. Хинтикки, например известную его работу [Хинтикка 1975]. Главным в его концепции является следующее положение: "Можно сказать, что установление того, что некто, скажем, *a*, воспринимает, означает описание мира, соответствующего его восприятию" [Хинтикка 1975: 40]. В другой работе он пишет: "Вряд ли мы поймем способ функционирования нашего языка (здесь Хинтикка говорит о естественном языке, равно как и о языке первопорядковой логики. – К.П.), если предварительно глубоко не разберемся в логике процессов, посредством которых мы устанавливаем, соответствуют или не соответствуют те или иные бесконечные образы (образы действительности, или "модельные множества", полученные на основе предложений естественного языка или их логических представлений. – К.П.) тому фрагменту мира, к которому они относятся" [Хинтикка 1980: 54].

Итак, от философской проблемы восприятия Хинтиккой ставится в зависимость ряд сугубо логических проблем – квантификация атомарных предложений, их проекция на реальность, постулирование и построение модельных множеств и взаимоотношения последних с миром и т.п. Точнее, такая зависимость естественно проистекает не от содержательного сходства этих проблем с проблемой восприятия, а от понятийного аппарата, разработанного для описания восприятия. Действительно, в вопрос об объекте – восприятии – включается проблематика логического представления данного объекта, т.е. проблема его метаязыка (что, вообще говоря, типично для логики). В центре проблемной ситуации для исследователя фактически оказываются не логический анализ философской проблемы, а вопросы метода и методик его проведения. Полученный в этой области концептуальный аппарат Хинтикка надеется использовать – и в результате успешно использует – в метатеории первопорядковой логики. Это позволяет ему сформулировать следующее важное положение: "Все, что имеется (в принципе) в восприятии (на данном уровне анализа), является характеристикой информации, а это равнозначно характеристике множества миров, совместимых с тем, что воспринято" [Хинтикка 1975: 41; Выделено мной. – К.П.]. В этом модельном представлении следует особо подчеркнуть логику его развертывания, его динамику (которая в частном случае может отождествляться с "деревом ветвления" миров, по Хинтикке).

И именно в аспекте этого, динамического, метода хинтикковской "модельные множества" и "возможные положения дел (миры)" представляют значительный интерес – как для решения частной задачи логических отношений способов восприятия, так и для более фундаментальных проблем. Сфера применения этих понятий может быть распространена на классификацию результатов восприятия ситуации (типов знаний о ней), способов языкового выражения этих знаний, на семантику языковых выражений и на механизмы вербального поведения в целом. С динамическим аспектом восприятия мы сопоставляем лингвистический процесс – выбор альтернатив.

* * *

Под "альтернативами" понимаются наличные в системе языка противопоставленные способы выражения "одной и той же" наблюдаемой ситуации. "Одно и то же" определяется с точки зрения исследователя, при учете исследователем фигуры субъекта речи и прочих сопутствующих произнесению высказывания факторов. Выбор между альтернативами и есть лингвистическое (модельное) представление динамики ситуации с позиции общения говорящего и слушающего. Но прежде остановимся на некоторых принципах типологии альтернатив.

Человеческое поведение интенционально. Интенциональность речевых поступков проявляется в речевых предпочтениях, выборе из "мира альтернатив". Будучи санкционированным принятыми в обществе поведенческими конвенциями, целепола-

гание в значительной мере объективно ограничено возможностями человеческого духа и тела. В этом смысле в акте целеполагания должно различать следование поведенческим канонам и умение извлекать из действительности включаемую в сообщение информацию, а в описании такого акта – разводить прагматику и эпистемологию ситуации. Обращенность языка к потребностям коммуникации, с одной стороны, и возможностям восприятия, с другой, демонстрируется наличием в его системе альтернативных способов для обозначения одного и того же наблюдаемого явления – альтернатив на уровне типов предикатов (пропозициональных функций), пропозиций и имен (терминов) в их составе. С позиции системы языка решение поставленной проблемы – отношения способов восприятия одного и того же фрагмента действительности – видится в выделении и описании языковых альтернатив разных типов. Преимущество обращения к данным языка очевидно. Суть этого исследовательского пути – в референции не к структурам человеческой психики, а к реально зафиксированным в форме языковых выражений объектам². Недостаток первых в том, что они обретают реальность лишь в контексте психологического эксперимента, тогда как интересующие нас вторые онтологичны: будучи конкретизированными в языке, они принадлежат миру, воспринимаемому и в какой-то мере "создаваемому" человеком, при этом составляя – наряду с языковым – компоненты человеческого сознания.

Далее, говоря о восприятии ситуации, уровнях знания и онтологическом аспекте языка, мы будем апеллировать к трем типам онтологических объектов: это возможные (эпистемические, семантические) ситуации и миры, факты и события. На вычленении этих и других онтологических сущностей и выяснении имеющихся между ними отношений долгое время оттачивался аппарат логической семантики. Однако расхождения авторских систем не ограничивались вопросами номенклатуры онтологических единиц. Гораздо более тонкие различия систем одного или разных авторов в другом. Философы и специалисты по логическому анализу по-разному полагали (если только признавали) связь открываемых ими онтологических реалий с языком и проблемами языка. Именно этими расхождениями и вызвана главная особенность подхода к этой проблематике в современной философии языка. Этим обусловлены и особенности настоящего текста, посвященного в рамках проблемы "высказывание и ситуация" вопросам лингвистической онтологии (а не онтологиям философских или логических течений). Мы вынуждены игнорировать многие содержательные философски значимые аспекты привлекаемых в статью идей и направлений. В нашем изложении позволительно ограничиться актуализацией в них лишь тех фрагментов, которые сближают на более высоком уровне обобщения некогда противопоставленные (или даже лишенные качества сопоставимости, "несоизмеримые") теории между собой и одновременно гармонируют с современными философскими подходами к языку.

Обращение к миру у философии языка – в ее стремлении проникнуть в сложный мир семантики языковых выражений – носит отчасти "примиряющий" разные и часто противоположные онтологические подходы характер. То, что в истории философии и логического анализа оказывалось объектом полемических реакций, а также сами противостоявшие теории в своих не критических (позитивных) частях – в современной философии языка сосуществуют (ср. "несуществующие объекты" (nonexistents) А. Мейнонга и теорию дескрипций Б. Рассела, "антирасселовский" дух многих направлений логической семантики и т.д.; из работ металогического характера упомянем [Сааринен 1986] и недавнее исследование [Lycan 1994]). Была изоляция отдельных логико-философских идей и направлений, часто по причине их – для того времени – "несоизмеримости" с другими, сменилась современными идеями их синтеза и объеди-

² Предпочтительность этого шага была осознана в философии языка со времен Г. Фреге. М. Даммит приписывает Фреге следующие три тезиса: "во-первых, целью философии является анализ структуры мысли (thought); во-вторых, изучение мысли должно быть четко отделено от изучения психологического процесса мышления (thinking); и, наконец, единственно правильный метод анализа мысли состоит в анализе языка" (цит. по: [Wettstein 1991: 123]).

нения применительно к новой области знания. И, разумеется, стремясь к компромиссным решениям, в "поисках мира" философы языка исходят из самой системы языковых выражений.

К онтологическим объектам можно отнести не только возможные, или эпистемические, миры, но и предметы, заполняющие, "населяющие" каждый мир. К ним осуществляют референцию компоненты высказывания с предметным значением. Возможные миры состоят из возможных объектов и возможных атрибутов, касающихся связей-отношений объектов. Любое описание возможного мира неосуществимо без обращения к его конституентам – объектам и атрибутам. Последние образуют возможные ситуации ("фрагменты" мира), хотя провести линию, разделяющую ситуацию и мир как часть и целое, довольно трудно³.

* * *

Вернемся к проблеме, поставленной в начале этого раздела. В ее развитии мы подошли к тезису о диагностичности альтернативных форм языка для наших заключений о способах восприятия одного и того же фрагмента действительности. И здесь мы снова сталкиваемся с проблемой метода. Сформулируем наш вопрос так: каковы исходные для философии языка теоретические допущения при таком взгляде на отношения имен, предикатов и пропозиций и внутреннее устройство их альтернатив?

Находясь в сфере пересечения исследовательских интересов, как мы видим, по крайней мере трех областей знания – лингвистики, логики и эпистемологии, – процедура классификации языковых выражений и типов их альтернатив имеет не собственно лингвистический, а логико-лингвистический характер. Она отвлечена от принадлежности каждой альтернативы (типа альтернатив) и ее составляющих определенному аспекту структуры высказывания. В этом случае выделение в высказывании аспектов (имен, предиката и пропозиции) скорее имеет методическую цель: оно обусловлено технической стороной нашего описания. К тому же во многих дескриптивных системах различие уровней приложения концептуального аппарата стирается, например в логической системе Г. Фреге (см. ниже).

Альтернативы внутри классов имен, типов предикатов и пропозициональных функций могут рассматриваться совместно, если имеют общее устройство. Изоморфными мы будем считать языковые альтернативы, принадлежащие разным аспектам высказывания, если им соответствуют однотипные (альтернативные) отношения в структуре онтологических объектов (например, возможных объектов для альтернирующих имен или возможных миров для альтернативных предикатов и пропозиций). Изоморфизм языковых оппозиций тогда мотивирован тем, что их дифференциальные признаки замыкаются на ситуации получения информации (т.е. в конечном счете на говорящем) и на структуре описываемых ими внеязыковых реалий (конструируемых языком онтологических объектов)⁴. В ментальном мире говорящего единожды увиденное

³ Естественно, что в лингвистическую онтологию линия, разделяющая эти объекты, должна проецироваться из структуры описываемого мир и ситуации языковых выражений. Поэтому проблема состоит не в различении объемов самих онтологических объектов, а в выяснении того, какие формы языка служат обозначениями мира, какие – ситуации; в структуре каких выражений эти две функции пересекаются и где в последнем случае на уровне структуры высказывания видны границы каждой. И такие попытки (независимо от логико-философской проблематики) лингвистике известны. Здесь мы только назовем две из них. Своим появлением обе теории обязаны отношениям в области обстоятельственно-атрибутивных компонентов предложения (пропозиции). Это синтаксическая теория обстоятельственных детерминантов Н.Ю. Шведовой [РГ: § 2045 и сл.] и семантическое разграничение "миропорождающих обстоятельств" и собственно-обстоятельств (или: "локативных обстоятельств") И.М. Богуславским [1996: 441–450].

⁴ Таковую дуалистическую ориентированность естественного языка стремятся перенять – в качестве общего принципа своей организации – формальные языки логики и постулируемые логикой законы. Хотя, разумеется, фактор субъекта здесь ограничен сугубо логическими параметрами. Е.Д. Смирнова, резюмируя

могло по-разному "произойти", происшедшее фиксируется, "изымается" из действительности и идентифицируется – становится для говорящего событием или делается фактом, после чего входит в коммуникацию. Прагматическая информация, уровень знаний и законы познания, единые для всего акта сообщения, распространяются на все высказывание.

Сразу подчеркнем, что прагматику мы ограничиваем вопросами использования высказывания в актуальной коммуникации – в отношении к целям говорящего, но безотносительно к процессам восприятия. Прагматика языковых выражений не несет онтологической нагрузки. В самом деле, при таком понимании она ничего не говорит о мире, а ее удел – сообщать о коммуникативном взаимоотношении людей. Говоря об альтернативах языковых выражений, ниже мы планируем отвлечься от не имеющих выхода на онтологию их прагматических характеристик.

Итак, мы убеждены, что типы альтернатив различаются не по конструктивной роли в высказывании, а другими признаками, отсылающими к категориям ментального плана и конструируемой языком "реальности", – своей предназначенностью для отражения нюансов восприятия, понимаемого как получение информации, уровня знания о действительности, характера этого знания (типа информации). Рассматриваемые ниже признаки в языке имеют онтологический статус: они разграничивают "схваченные" средствами языковых выражений типы осмысления мира. Некоторые из этих параметров уже осмыслялись в другой связи, частью – лингвистикой, а также в философских, эпистемологических и логических системах, и потому могут быть извлечены в готовом виде из философских понятий и категорий логики и эпистемологии. Разные типы оппозиций языковых выражений – имен, пропозиций, пропозитивных номинализаций – имеют традиции изучения на стыке логики, эпистемологии, философии и лингвистики. Предлагаемый ниже онтологический поворот в их осмыслении вызван нашей убежденностью в том, что описание типов альтернирующих выражений не исчерпывается указанием на внутренние смыслы соответствующих языковых форм. Для него необходим универсальный критерий, позволяющий учесть – помимо языковых значений – заключенные в них модели освоенного языком и познанного человеком мира (модели онтологии). Мы избираем критерий логико-семантический. Типы онтологических объектов и их различительные параметры, многомерность и "многомирность" пространства исследовательской онтологии – будут вкладом логики в аппарат философии языка.

Вклад другой дисциплины – эпистемологии – в философию языка мы не ограничиваем привнесенным ею параметром знания. Он выражается еще и в сообщении этому параметру динамических черт: для различения альтернативных языковых выражений, способов получения информации и конструирования онтологических объектов философия языка использует динамические эпистемические модели. В свою очередь последние успели стать основой сравнительно нового направления – эпистемической логики (ср. [Cornelis 1995]). Эпистемология и эпистемическая логика в комплексе с семантикой возможных миров могут составить формализованный костяк исследовательского аппарата философии языка.

III

Теперь обратимся к типам оппозитивных языковых выражений, поочередно соотнося их с каждым из перечисленных типов онтологических объектов. Наш путь начнется в области пропозиций. Пропозицию (и ее костяк – имя и предикат) в разделе I мы рассматриваем в качестве языковой формы выражения возможного мира.

разговор о нормативном характере логических законов, отмечает: "Важно выявить, какие законы логики и способы рассуждения зависят от предметной области, от типа объектов рассмотрения, а какие – от познающего субъекта, от его концептуального аппарата, от используемых им понятий истинности, ложности, суждения, вывода" [Смирнова 1996: 14; разрядка наша – К.П.]

Внутрипропозитивным именным классификациям посвящен наш раздел 2. В разделе 3 мы уделим внимание производным пропозиции – пропозитивным номинализациям. Последние очерчивают рамки существования в языке двух других категорий – события и факта. Структура каждого раздела, таким образом, отражает различные аспекты взаимоотношения семантики (семантической стороны онтологических объектов) и эпистемологии (знаний субъекта речи об объектах). Это противопоставление будет внутренней доминантой изложения.

1

Конкурирующие формы предикатов (в частном случае – глаголов) и пропозиций образуют в языке грамматические оппозиции. Применительно к процессам производства высказывания и в отношении к онтологическим объектам – в о з м о ж н ы м м и р а м – смысл предикатных оппозиций различен. Это можно показать на примере предикатов и пропозиций с различным объемом дифференциальных свойств. Составляющие одних оппозиций по-разному описывают устройство мира (т.е. их различия свидетельствуют о различиях в структуре онтологических объектов); другие предназначены исключительно для удобства сообщения о мире (подчинены речевому замыслу, коммуникативной стороне, прагматике речи). Мы выделим д в а т и п а языковых альтернатив в сфере предикатов (пропозиций). Оба типа подробно описывались, но не релятивизировались на основе онтологических признаков.

Об исходе матча можно говорить в терминах *победы* и *поражения*; о совершенной сделке – как о *купле* и *продаже*. В фокусе внимания могут оказаться действующий субъект ситуации или ее объект. Фокусировка внимания на одном из участников – важный механизм, определяющий тему сообщения и принцип ее развертывания в текст. Отношения таких пропозиций (пропозициональных функций) – в центре которых находятся предикаты конверсивной семантики либо предикаты, противопоставленные по залогу, – отвлечены от деталей восприятия и концептуализации. Эти отношения объясняются коммуникативной функцией языка. А выбор и использование одной из пропозиций в речи описывается в категориях п р а г м а т и к и. Здесь важен момент сохранности в выбранной пропозиции обстоятельств, а главное – участников происходящего: говоря о победе, не забывают о побежденном; сообщение о поражении сопровождают ссылкой на виновника; покупка имплицитно фигурирует продавца, как и продажа – фигуру покупателя и т.д. Выше мы сказали об особом "вне-онтологическом" статусе прагматической информации в языке. Разговор о подчиненных прагматике альтернативах мы не продолжаем.

Д р у г о й т и п о п п о з и ц и й – помимо сугубо коммуникативной (прагматической) нагрузки – несет также различия, напрямую не связанные с целями коммуникации. Эти оппозиции отражают информационные нюансы познавательной ситуации. Пример: *Маргарита смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн* (М. Булгаков). Отсутствие знаний выражается в выборе предиката (*запомнились*). О полном незнании – "эпистемическом провале" – обычно сообщают безличной пропозицией: – *Как ты это все запомнил?* – *Да так, как-то запомнилось*. Ранжирование предикатов и пропозиций по семантической категории личности/безличности, конечно, может служить чисто речевым – прагматическим – целям (например, уходу от ответа). Нами оно рассматривается безотносительно к прагматике, как отражение в формах языка лимитов восприятия, факт эпистемологии и фактор лингвистической онтологии. А эта проблема имеет философско-логические основания и находится в ведении философии языка.

Категория личности/безличности предикатов имеет точки соприкосновения с определенностью референции в сфере имен. И здесь эпистемический фактор оказывается главным: разница между *Старик вошел в комнату; Какой-то старик вошел в комнату; Некто вошел в комнату* и *Нечто вошло* очевидна. В приведенной выше цитате из работы М.Б. Бергельсон и А.Е. Кибрика речь шла о несводимости механизмов

речевого поведения к сугубо прагматическим, скорее о пределах речевого замысла, чем об языках исполнения. Исследование оппозиций последнего типа состоит в выделении из них эпистемологического субстрата, непосредственно связанного как со способами мышления о мире, так и с формами семантической обработки получаемой о нем информации. Описать их – значит увязать языковые выражения с определенным видением мира и его ментальной моделью. Для этого нужно измерить их информационное содержание (меру вкладываемой в каждое альтернативное выражение информации).

* * *

Попытка наложить оппозитивные выражения на мир, посмотреть, с какими сущностями в структуре мира они соотносятся, равносильна онтологизации их семантических различий⁵. Зададимся вопросом: что меняет в мире фактор знания о нем? (Разумеется, здесь, как и прежде, речь идет не о реальном, воспринимаемом, мире, а о создаваемом человеческим сознанием, ментальном, мире.) Другая проблема: как отразить в описании альтернативных выражений смену эпистемических состояний говорящего субъекта и изменения модели мира, складывающейся в его сознании? Начнем опять-таки с оппозитивных языковых форм.

Фактор знания вносит в эти оппозиции идею контрфактичности. В логике контрфактическая связь ("если бы А, то бы В") в общем случае представляет собой расширение имплицативных отношений ("если А, то В"). Их различие в следующем. Импликация связывает явления одного мира. Вследствие этого она может быть оценена как истинная или ложная: позиция "оценивающего", пребывающего в действительном мире, сообщается здесь с миром явлений. Действие импликации распространяется на пространства одномирных моделей. Контрфактичность же оставляет зазор для возможного хода ненаблюдаемых событий. Ее содержательное отличие от логической импликации состоит в допущении сосуществования взаимоисключающих положений дел. Она выполняет миропорождающую функцию и допускает не истинностные, а вероятностные оценки с позиции мира "извне". Это онтологический прогноз, узаконенный логической моделью.

Позволим себе здесь небольшое отступление и поставим вопрос о месте этого понятия в онтологических моделях. Контрфактический элемент проникает в сценарий действий и состояний, ментальных и физических. Это – знак их двоения. Его экспликация представляет собой исследовательский прием и требует принятия определенного уровня абстракции от непосредственно наблюдаемого положения дел. Этот прием используется логиками (например, в логике изменения – *logic of change*), в философии действия, в художественном творчестве – всюду, где о ситуации говорит Наблюдатель, вездесущий и судящий, – он расширяет сферу познаваемых явлений, делая

⁵ "За" и "против" такого допущения широко обсуждались в философских сочинениях (ср. наиболее известные работы [Dretske 1979; Davidson 1980; Barwise 1989] и их критику в [Блинов, Петров 1991; ST 1993; Language 1994: 117–144; Buekens 1995]); из лингвистических работ см. [Демьянков 1983]. Здесь мы не можем подробно останавливаться на этом вопросе. Хотим подчеркнуть лишь следующее. Принято считать, что лингвистическому описанию отношений каких-либо двух типов предложений (пропозиций, высказываний) на определенном этапе позволительно ограничиваться простой констатацией того, называют ли они "одну ситуацию" или "разные ситуации". Аксиоматизация этого шага привела к тому, что вопрос о количестве обозначаемых ситуаций нередко используется исследователями как диагностический для выяснения положения данного типа отношений среди других, становится основанием для их сравнения. Например, оппозиция активных и пассивных конструкций обычно считается неизоморфной оппозиции каузативно-медиальной (представленной в современном языке глагольными парами типа *пойть – пить, студить – стынуть, сыпать – сыпаться, отвязывать – отвязываться* и т.д.) в том числе и потому, что первая называет "одну ситуацию", тогда как члены второй – две "разные".

Мы предпочитаем говорить не о "разных ситуациях", но о разных ситуациях в дифференцирующем их эпистемическом контексте – об их связях (несводимых к логической дизъюнкции), динамике, взаимных переходах; не об "одной ситуации", но об отождествлении разных и т.д., используя эпистемический критерий различения языковых выражений.

наблюдателя причастным и их "теневого" стороне. Один из неформальных постулатов логики действий (и логики изменения) гласит: "Если некоторый фрагмент *H* поведения субъекта *a* является действием, то *a* имел возможность как совершить *H*, так и воздержаться от совершения *H*" [Блинов, Петров 1991: 18]. Логик и философ прибегают к пространственному представлению альтернативных ситуаций. Их модель акцентирует релевантные для полного мира его "генетические" и структурные характеристики. А наблюдение над множеством всех миров, совместимых с данным, ведется в рамках оговоренного временного среза.

Итак, в полном описании ситуации за моделью того, что реально имело место, должна стоять другая модель – "как если бы мир был иным", и эти миры равновесны. Они имеют общий "исторический" стержень (точку ветвления, из которой они развились). Это ставит их в отношении альтернирования. Таков, в первом приближении, исходный тезис семантики возможных миров.

Художественное соположение разносюжетных пространств в литературе и искусстве высекает искру контрапункта. Но есть и другой прием. Воображение художника продуцирует также заключающие идею контрфактивности временные модели мира. "Сад расходящихся тропок" у Борхеса – это пространственная метафора онтологии, осложненной идеей многомирия. В основе борхесовской онтологии, однако, лежит не метафора пространства, а понятие времени. Из двух способов организации представлений о мире действительном и "других" мирах – пространственном и временном – для свободного от изысков логических формализмов мышления этот последний вариант кажется более предпочтительным. Предметом временных, как и пространственных, моделей являются контрфактические возможные миры. Но эти миры нелогического сорта. В отличие от логически возможных миров последние лишены параметра эпистемической доступности (достижимости). К ним обращаются, когда, наряду с сопряженностью одних художественных ходов и сюжетных линий, акцентируют смысловой отрыв и дистанцированность других, стирая общую для двух сюжетных линий "точку роста". Множество миров порождается автором по закону жизненной "логики" и канонам жанровой формы из одного сюжетного "сырья", но проследить эпистемические вехи этого пути невозможно: места контрфактических развилок невидны непосвященному наблюдателю. К таким мирам – в их предельном развитии – не подобрать логического ключа.

Затушевывая во взаимоисключающих сюжетных ходах логико-эпистемическую координату, автор ищет им поддержку в онтологии. Презумпцией этой онтологической модели является нелинейная и нециклическая трактовка темпоральности. В ней *время* уступает место *временам*. Конфигурация контрфактических миров повторяет изгибы канвы времен. Миры, подобно организующим их временным рядам, "сближаются, перекрещиваются или век за веком так и не пересекаются". "В большинстве этих времен, – продолжает персонаж Борхеса, – мы с вами не существуем; в каких-то существуете вы, а я – нет; в других есть я, но нет вас; в иных существуем мы оба. В одном из них, когда счастливый случай выпал мне, вы явились в мой дом; в другом – вы, проходя по саду, нашли меня мертвым; в третьем – я произношу эти же слова, но сам я – мираж, призрак" [Борхес 1994: 328–329; курсив наш. – К. П.]. Временные траектории, как и пространства, характеризуются наборами субъектов, уникальными сюжетными завязками, коллизиями и исходами. В мире художника, независимо от разделяемой им модели, контрфактивности отведена сюжетообразующая роль.

Если в описании ситуации избрать позицию реального мира и одномирных моделей, то с допущением контрфактивности исследовательское пространство – как и в предшествующем типе моделей – удваивается. Однако теперь в нем внимание уделяется одному событийному ряду – событиям, которым случилось произойти и стать "действительными". Последние наделяются особым, "недиалогичным" статусом – взамен участия в диалоге альтернатив. Передний край картины неизменен: ведь вопреки нашим умственным прогнозам сыгранный сценарий жизни не поддается доработке. Он самодовлеющ и самодостаточен, хотя и не безусловен. Вероятно,

такую точку зрения разделял Витгенштейн, когда писал о неслучайности и ценности происходящего. Для него простой уход в контрфактический мир не отменяет реальных коллизий, а нередко негативный их характер не перестает быть таковым после воображаемого перевода стрелки на жизненном пути. Художественное сознание поместило эту идею в типологию художественных сюжетов и жанровых форм. В этом, в частности, суть жанра трагедии, которая – и этому нашел "оправдание" Витгенштейн в контексте своих философских рассуждений – ставит акцент на неизбежности реального. Сюжет трагедии линеаризован: в ней указание "пути отступления" девальвировало бы замысел жанра. Ср.: "Трагедия могла бы всегда начинаться словами: "Ничего бы не случилось, если бы..." (Если бы край его одежды не попал в машину?) Но ведь это односторонний взгляд на трагедию, позволяющий показать лишь то, что одна встреча способна изменить весь ход нашей жизни" [Витгенштейн 1994: 423].

Занимаясь моделью получения информации и подготовки сообщения, мы остаемся на позиции не единственности направления развития эпистемических событий. В нашем случае в antecedent контрфактических отношений попадают ситуации произнесения высказывания, различающиеся объемами знаний говорящего. В эти отношения (на правах консеквента) вступают и употребляемые в каждой ситуации типы языковых выражений. Появление в разговоре эпистемических состояний разной информационной глубины – "полного" и "ущербного" знания – одинаково возможно. Поэтому предполагается, что наряду с ситуацией первого типа, при других обстоятельствах, вероятно появление другой – ситуации нехватки информации. Каждое эпистемическое состояние предполагает построение ментальной модели мира разной степени полноты и детализованности. Хотя неполнота информации не имплицитно подразумевает отсутствия в ней деталей. Из поля зрения наблюдателя часто выпадают именно глобальные связи и отношения, действующие лица или их деяния. Здесь о положении дел если и можно сообщить, то приписать его действиям индивидуализованного субъекта невозможно. При описании такого эпистемического, возможного мира – "другого", в сравнении с информационно насыщенным миром, – говорящий отказывается от эпистемически нагруженных глаголов или референтно определенных имен и дескрипций в синтаксически независимой субъектной позиции, снимая с себя ответственность за истинность более "сильных" утверждений.

В этой ситуации, в частности, неупотребимы и грамматические формы, специализированные на выражение агентивных каузаций и агентивности в целом. Понижение роли агенса сопровождается экспансией в высказывание лексических и синтаксических форм безличности.

(Коротко коснемся в известном смысле противоположного акта восприятия. Допустим, что эпистемическая "непрозрачность" объявляется имманентным свойством всех действительных событий. Тогда имперсональность становится частью индивидуальной философии и жизненной логики. Она проявляется в стиле и через стиль: подчиняет себе стиль мышления и манеру поведения воспринимающего ситуацию субъекта. В таком случае даже полное знание ситуации не выражается в ее аналитическом портрете. Грамматическая категория безличности повышается в ранге. Она избирается автором одной из стилеобразующих черт. Особенность этого мировосприятия, не чуждого например М. Булгакову, удачно сформулирована в реплике его же персонажа: *Неужели вы скажете, что это он [человек] сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?* В этом случае открываемые эпистемологией законы не способны заполнить брешь, возникающую между актом восприятия ситуации и семантической моделью возможного мира в результирующем этот акт высказывании.)

Другие типы выражений меняют свои денотативные привязанности. Здесь мы проследим эпистемическую редукцию каузальных отношений, вплоть до "нулевой" эпистемической отметки – до исчезновения каузации и ее замещения связью другого типа. Во многом диагностическими на этом пути для нас

будут отголоски постепенного размывания принципа причинности в области сложных причинных предложений.

* * *

Известно, что сложные предложения причины – английские *for-* и *because-* предложения, как и русские *потому-что-* или *так-как-* конструкции – в типичном случае ориентированы на мир "полного" знания (назовем его "м и р - 1"). Это значит, что они называют цепочки экстенциональных событий, "объективные" или объективированные, в том виде, какими они открываются "стороннему наблюдателю". Пусть этому миру принадлежат английские и русские сложные предложения типа "В доме напротив был пожар, потому что случилось замыкание"; "Дженни сегодня нет, потому что она заболела"; "Кошка кричит, потому что ужасно голодна" и т.п.

В мире "неполного" знания (обозначим его как "м и р - 2"⁶) принцип причинности применяется в отношении модализованных объектов. Ими являются не открываемые нами связи событий во внешнем мире, а наши с у ж д е н и я и ментальные состояния по поводу событий. Следовательно, в высказываниях этого мира сообщают не о самом явлении, а об источнике знания (полагания) о нем. Например, предложение *Кошка кричит, потому что ужасно голодна* в этом мире будет перформулировано следующим образом: *Думаю, что кошка ужасно голодна, потому что кричит*. Содержание "мира-1" экстенционально; информация "мира-2" касается интенциональных сущностей. В первом случае обосновывают доступное восприятию положение дел; во втором – его существование в аспекте суждения. Причины второго типа, как и причины из "мира-1", – и это важно подчеркнуть – говорящий ищет в мире, но информация о причинах "мира-2" принимает отчетливые субъективные коннотации.

Поверхностная структура выражений типа *Jenny isn't here, for I don't see her* не несет следов ослабления в них каузативной семантики, ср. выражение из "мира-1": *Jenny isn't here, for she's ill*. Она не требует предъявления глаголов пропозиционального отношения *I think / believe / say, that...* Тем не менее смысл этих предложений, в отличие от аналогичных из "мира-1", нормально воспринимается только в ситуации прямого говорения. (Не случайно в таких предложениях искал подтверждение своей перформативной гипотезы Дж. Росс.) Показательно, что аналогичное русское сообщение элиминирует каузативные смыслы и содержит эвиденциальное указание (ссылку на способ знания) в уступительном значении: *Петра здесь нет, во всяком случае я его не вижу* – скажем мы; ср. распространенную в разговорном регистре конструкцию: *Говорю пожар – вон сколько машин понаехало!*; *Говорю уברי – вон сколько пыли на шкафу* и т.д. Причинное предложение *Я думаю / говорю, что Петра здесь нет,*

⁶ Не следует смешивать эпистемическую "неполноту" как качество мира и как количественный показатель вкладываемой в конкретное сообщение информации. Последний допускает градуирование в границах одного мира. Фрагменты ряда предложений: *Джоунз намазал маслом гренки; Джоунз намазал маслом гренки в ванной* и т.д., с навешиванием разнообразных дополнительных атрибутов на исходную структуру, – актуализировались в разное время логическим анализом и логикой действий. Их вряд ли уместно разводить по разным возможным (эпистемическим) мирам. Соображения по этому поводу – правда, безотносительно к понятию возможного мира – были высказаны Д. Дэвидсоном в работе 1967 г., подводящей итог попыткам заключить в логическую форму способность многих предложений к эпистемически значимому варьированию своей актантной структуры (см. в изд. [Davidson 1980]).

Комментируя в этом ключе проблему причинных предложений ("сингулярных каузальных предложений", по Дэвидсону) – а последние в нашей классификации причинности целиком принадлежат "миру-1", – автор критического обзора дэвидсонова подхода резюмирует: "Часто мы оказываемся не в состоянии употребить дескрипцию для идентификации причины и следствия по их каузально релевантным признакам либо по признакам, фигурирующим в общих причинных законах, покрывающих [данный] индивидуальный случай" [Language 1994: 201]. В самом деле, многие сингулярные термины идентифицируют события по пространственно-временному параметру или по их включенности в событийный контекст (ср. *События октября 1917 года* и *Десять дней, которые потрясли мир*), но оказываются неинформативными для объяснения (explanation) причин. Из этого не следует, что их употребление в причинных предложениях невозможно, как и то, что эта причинность иного сорта (или вовсе не является причинностью). Классификации имен и дескрипций мы рассматриваем в разделе 2.

потому что я его не вижу в этом мире менее частотно (ср. более приемлемый и вместе с тем недалеко отстоящий от предложений с причинной семантикой вариант: *Петра наверно здесь нет, что-то я его не вижу*), но зато с синтаксической точки зрения вполне корректно. Русские *потому-что*-предложения, как и английские "because-clause", при выражении ими "личностных" причин нуждаются в модальной достройке вершинной пропозиции: *I say / think / believe, that Jenny isn't here, because I don't see her*. Для них недостаточно прямого помещения в речевой контекст. В их структуре отношения модализованной обусловленности требуют аналитического развертывания. Следующее высказывание семантически неверно: *Jenny isn't here, because I don't see her*. Выражения *Иван говорит, что Петра здесь нет, потому что он его не видит; John says, that Jenny isn't here, for (because) he doesn't see her*, если их причинные части рассматривать в режиме нецитатного употребления, относятся к "миру-1" и возникают в ситуациях "полного" знания.

Подчеркнем, что в "мире-2", как и в "мире-1", важен перцептуальный источник информации, но не градус ее достоверности. Конечно, информация, полученная путем непосредственного наблюдения за действительностью, может быть ложной и вводящей в заблуждение. Но и это не отменяет ее успешного использования в мотивировках. Нам достаточно допустить, что ее рассматривают как истинную по крайней мере в данном возможном мире – мире восприятия действительности и производства высказывания конкретным говорящим. Адресат в ней может усомниться, но от этого ее каузальная роль в суждениях не будет поставлена под сомнение. Каузирующая информация в "мире-2" облечена в модальную рамку и личностна, а соответствующие высказывания оставляют возможность другого мнения. Ее включение в высказывания "мира-1", осуществляемые с позиции "отстраненного" наблюдателя, констатирует эпистемическую недостаточность сообщения "мира-2". Последняя пара выражений (если только они не являются цитатным воспроизведением соответствующих высказываний из "мира-2") несет импликацию фактического присутствия искомого лица в перспективе говорящего. В них отрицается пропозиция "Петра здесь нет" или "Jenny isn't here", но не причина ее появления.

В следующем эпистемическом мире – "м и р е - 3" – для обоснования права говорить о событиях используется интериоризованный материал ментальных состояний (вера, кажимость, мнение, сомнение и под.), не подкрепленный, как это было в "мире-2", перцептуальной конкретикой. Здесь причинные конструкции отступают. Знаменательно, что английский язык, преуспевший на поприще типизации каузативных смыслов, не выстраивает в причинных конструкциях ряды пропозициональных установок: *I say / think, that he'll come, because I believe so* (букв. "Я говорю / думаю, что он придет, потому что надеюсь на это"). Не используются здесь и более приспособленные к выражению модализованных мотивировок *for*-предложения: **He'll come, for I believe so*. Русскому *Он придет, во всяком случае я надеюсь на это* соответствует английское *He'll come, at least I believe so*, включающее эвиденциальные маркеры интериоризованного (апперцептивного) источника знания.

Следующие примеры проясняют устройство названных миров. Предложение *Он считал, что умен, потому что каждый день думал иначе* (Э. Канетти) мы относим к "миру-2". Интерпретация его основана на семантической разности *считать* и *думать*; за отнесенность предложения к "миру-2" (а не, положим, к "миру-3") отвечает пропозиция, вводимая предикатом *думать*. *Думать* означает "объективное" [Шатуновский 1993] или, лучше сказать, эмпирическое мнение. Оно формируется в контексте жизненных ситуаций. Оценка же, вводимая *считать*, вторична (результатирующая). Афоризм Канетти содержит в свернутом виде механизмы ее выведения. Вторичная оценка способна абстрагироваться от конкретных положений дел, стать первичной. Тогда все "счеты" произвольны. *Считать, кого-либо дураком / негодяем / ослом* и т.п. не предполагает обязательной осведомленности о чьих-то поступках: для "считать", вообще говоря, достаточно выбора мишени. Напротив, *думам, мыслям и помыслам* о

ком-либо как о дураке, негодяе или осле, как правило, сопутствует их верификация при узнавании о поведенческих актах оцениваемого лица. Поэтому инверсия двух модусов в каузальной цепи семантически неправильна; ср. дефектность предложения *Он думал, что умен, потому что каждый день считал иначе.*

Разведенность одной реальной ситуации и способов ее обозначения по разным причинным мирам в зависимости от уровня знания – например, равновероятное ее падение в "мир-1" или "мир-2" – можно показать на следующем примере. К "миру-1" принадлежат выражения типа русск. *Он покраснел, потому что ему стало стыдно за вчерашний день* и англ. *He blushed, because he felt ashamed for what had happened yesterday*, устанавливающие связи наблюдаемого положения дел. Однако поведение симптоматических ситуаций ("покраснеть от стыда", "побледнеть от страха" и под.), как и близких к ним акциональных "вскрикнуть от боли", "прыгать от восторга" и пр., в плане отношений обусловленности может быть двойственно. Действительно, наряду с ситуацией из "мира-1" возможны и эпистемически "ослабленные" ситуации. Здесь мотивирующее и мотивируемое меняются местами. Каузальные инверсии происходят регулярно, когда в структуре исходной, "полной", ситуации редукции подвергается ее "слабый" правый компонент (содержащий недоступную зрению информацию о ситуациях стыда, боли, страха или восторга). Он и составляет предмет выводного знания. Тогда воспринимаемые внешние симптомы и поведенческие реакции третьего лица мы пытаемся использовать в оправдание своих заключений об их ментальных антецедентах. Однако же симптом чужого покраснения не поддается однозначной каузальной дешифровке: краснеют на морозе и в смущении, багровеют от гнева и т.д. Потому в высказываниях "мира-2" интериоризованная часть ситуации увязывается с симптомами и свидетельствами равно каузативным и некаузативным путями с помощью модальных слов и эвиденциальных отсылок, ср.: *Думаю, ему стыдно за вчерашнее, потому что / во всяком случае [я вижу, как] он покраснел.* Английский язык, чьи выражения в "деле о причинах" используются нами в качестве диагностических, в этих ситуациях не предлагает причинных придаточных: *I guess / believe / say, he must feel ashamed for what has happened yesterday, at least [I see, how] he has blushed.* Отчасти это объяснимо тем, что в мире "полного" знания симптоматика экстериоризует внутренние состояния, но при отсутствии у говорящего знаний о них она не выставляет каузально однозначного ориентира. Многозначность воспринимаемых симптомов и непричастность к ситуациям "причинения боли", "пристыжения" или "приведения в восторг" ощущаются как отсутствие для сообщений о внутренних состояниях "видимых" причин. Обоснование высказывания субъект речи подчиняет целям самооправдания и уступки. (Об интерпретациях симптоматики "внутреннего человека" см. подробно [Арутюнова 1997].)

Прерывая в этом месте краткий очерк причинности в разных эпистемических и семантических мирах, мы хотим обратить внимание на следующее. Когнитивные мотивировки сообщений, лишенные перцептуальной подоплеки, не входят в юрисдикцию принципа причинности. Последний ориентирован на отношения обусловленности во внешнем мире и создаваемые говорящим на их основе эпистемические (возможные) миры, как в "мире-1" или "мире-2", а не замыкается на интериоризованных явлениях, к чему обязывает "мир-3". Он рожден и отшлифован на *res extensa*, а не *res cogitans*⁷. Граница действия принципа причинности проходит там, где прерывается информация, получаемая по каналам восприятия. Ибо только эта информация может являться источником направленных на мир ментальных состояний (веры, полагания, знания). И, что главное, она стимулирует суждения, в которых, часто по умолчанию, исходят из общих причинных законов, продуцируемых житейской практикой. "Мир-1" и "мир-2"

⁷ Различая "мир-1" и "мир-2" набором присутствующих в них причин, мы обходим стороной нюансы, связанные с проблемой каузации как таковой и каузальным анализом ситуаций. Это задача философских и логических теорий каузального анализа. Однако сам принцип моделирования причинной семантики и принципа причинности – с использованием параметра знания, понятий контрфактичности и мира как основной онтологической единицы – прямо перекликается с аналогичными идеями в русле каузального анализа, особенно с его версией в работах Г.Х. фон Фригта [фон Фригт 1986].

классифицированы по типу причин; "мир-2" – и этим он отличается от "мира-3" – открыт к поступающей эмпирической информации, участвующей затем в каузальной аранжировке высказывания. В "мире-3" такой информации нет; здесь нет и причин. Принцип причинности не действует в приложении к непроецируемому в действительность основаниям пропозициональных установок – и в этом смысле не переходит "на личности"⁸.

* * *

Выделим опорные фрагменты того теоретического каркаса, который будет нужен нам в последующем изложении. Возможные миры образуются в результате интeриоризации физической реальности во внутреннюю сферу человека. Конфигурации информационных структур, возникающие в ходе восприятия физической реальности человеком, мы называем эпистемическим миром. Семантический мир задается множеством языковых выражений, принадлежащих разным аспектам высказывания. Развиваемая нами идея состоит в том, что можно составить классификацию языковых выражений на основании введенного логико-семантического критерия – их способности различать эпистемические ситуации (миры) или отражать их динамику.

2

Аналогичные предикатным и пропозициональным классификациям эпистемические изоглоссы можно прочертить на уровне имен.

В сфере имен (терминов) типичными примерами альтернатив, построенных на контрфактических основаниях, являются отношения имен типа *Геспер* и *Фосфор* и именных групп *Утренняя звезда*, *Вечерняя звезда* и *планета Венера*, тождественных по денотату. Это эмпирические термины: их появление, противопоставление и отождествление отражают этапы приращения знания об эмпирических объектах. Для различения имен Г. Фреге в работе 1892 г. (рус. перевод [Фреге 1977]) ввел понятие смысла (Sinn), противопоставив последнее понятию значения как денотативной соотносительности (Bedeutung). Смысл имени не затрагивает денотата, а отражает "способ представления" денотата в семантике имени. (Денотатом именных выражений в данном случае является одна и та же планета Венера.)

Отвлекаясь от традиционных интерпретаций этих имен в логике – в частности, известного Парадокса Фреге и способов его преодоления, – мы можем рассматривать их как средства для обозначения одного и того же референта в двух разных семантических, возможных, эпистемических мирах – мире древних и мире современных астрономических воззрений. Каждая пара имен – *Геспер* и *Утренняя звезда*, *Фосфор* и

⁸ Эпистемическая граница действия причинности, прочерченная нами, в целом совпадает с логико-философскими конвенциями о пределах этой категории. Философский анализ призван отграничить причинность и каузальную связь от отношений другой природы, претендующих, не без участия естественного языка, на каузальный статус. "Среди философов давно стало принято проводить различие между причиной и следствием, с одной стороны, и основанием и следствием – с другой. Первое отношение является фактуальным и эмпирическим, второе – концептуальным и логическим" [фон Вригт 1986: 71]. Наличие логической связи явлений исключает возможность их каузальной связи. Эта постулируемая философами закономерность известна как "аргумент логической связи" (logical connection argument) [Блинов, Петров 1991: 136; Buekens 1995: 406–407]: причина и следствие, чтобы быть истолкованными именно в таком качестве, должны быть логически независимыми сущностями.

Указанное философское противопоставление двух типов отношений накладывается на нашу классификацию миров, в частности на пограничные образования – "мир-2" и "мир-3". Связь перцептуальных данных с содержанием ментальных состояний (как в "мире-2") удовлетворяет критериям каузальной связи (ср. каузальные теории восприятия). Зато связь ментального состояния и инициируемого им высказывания (содержания пропозициональной установки) в "мире-3" для философов является концептуальной, логической, но не каузальной связью.

Вечерняя звезда, – а также выражение планета *Венера* окружены индивидуальным семантическим ореолом (это и будет "смысл" по Фреге), содержащим информацию об эпистемических характеристиках объекта, планеты *Венера*, в границах названных миров.

В этом месте, говоря об универсальном для множества возможных миров объекте и называя этот объект "планета *Венера*", мы не можем параллельно не провести и другую линию. (В специальном смысле, в связи с проблемой референции имени, эта линия получит развитие ниже.) На самом деле, каждый мир – мир, семантической стороне которого принадлежит сумма выражений *Утренняя звезда* и *Вечерняя звезда*, *Геспер* и *Фосфор*, а также мир выражения планета *Венера* – характеризуется особым набором не только семантических признаков ("смыслов"), но и собственным полем референции. Это его другая сторона. Возможные миры как единицы онтологии, напомним, естественно градуируются по онтологическому же признаку – по заполняющим их объектам. Последние типизируются (задаются) именными формами языка, обеспечивающими референцию к этим объектам из структуры пропозиции. "Следы" объектов исследователь может выявить путем рекурсивной процедуры: располагая реестром имен, мы, если будем действовать не выходя за рамки данного мира, придем к идентифицируемым терминам объектам.

Референтные объекты также будут отличительной чертой каждого из миров, задействованных в противопоставлении. В мире четырех именных выражений таких объектов два (соответственно, один – небесное тело, наблюдаемое утром, а другой – небесное тело, наблюдаемое только в вечернее время), а в мире планеты *Венера* – только один. Тогда становится понятным, что в мире, которому принадлежат четыре приведенных выше именных выражения, не может быть объекта "планета *Венера*", потому что в нем нет самого выражения планета *Венера*, которое бы обеспечивало возможность указания на этот объект; а имена *Геспер* и *Фосфор* могли быть и в самом деле именами разных объектов (каковыми и являлись до определенного времени). Предложение "Денотатом выражения *Утренняя звезда* является планета *Венера*" звучало бы в высшей степени парадоксально, если бы его метаязыковой статус не был столь очевиден. Появление выражения планета *Венера* как раз и связывается с особым уровнем знания, позволяющим, в новом эпистемическом пространстве, отождествить некогда разные объекты и закрепить идею тождества в особом способе именовании.

Именно с позиций эпистемически наиболее полного мира, мира планеты *Венера*, совпадающего в своих основных координатах с миром современных астрономических взглядов (в частности, и "миром автора данной статьи"), рассуждают об этих выражениях логики, например Фреге. Их анализ "ретроспективен". В метаязыке, на котором они говорят о "своем" мире и обозреваемом из "своего" – другом мире, а также в самом языке "их" мира, естественном языке, появляются "нестественные" для другого мира способы номинации – названия для "непривычных" объектов. И это не случайно: ведь основная масса логических проблем в области имен концентрируется вокруг идеи тождества и решается подстановкой разных имен в равные семантические условия. Последние же не могут быть признаны универсальными (cross-world, "проходящими через миры"), как не универсальны пропозиции, распределенные по семантическим мирам (см. выше), или пропозициональные функции, чьи переменные пробегают в каждом мире по разным объектам. Смешение онтологически разнородного семантического арсенала – вот источник логических загадок и парадоксов.

Итак, "путь парадоксов", проторенный Фреге и его последователями, идет в обход "рамочных" признаков имени – эпистемических и семантических качеств среды его обитания, мира. Это свидетельствует не об уязвимости ряда систем логической семантики, а скорее о многослойности проблемы и плюралистичности методик для ее решения. И действительно, этот путь не единствен. От него отличается, и по целям, и по результату, другой, намеченный нами выше подход. В последнем именные выражения, их семантика и референция (как и семантический мир в целом), рассмат-

риваются не в сумме с другими, онтологически противопоставленными им выражениями (и мирами) языка, а раздельно – т.е. по раздельным линиям, своеобразным "изоглоссам", наблюдаемым внутри каждого такого множества выражений. (Например, анализ выражения *Утренняя звезда* не пересекается с анализом мира *планеты Венера*, хотя в своих истоках и стимулирован идеей связанности этих обозначений.) Тогда исследователь избавляется от эпистемических и семантических "помех", непременно возникающих в системе – со стороны форм языка, альтернативных данной форме и потому предполагающих другой эпистемический фон, входящих в иные семантические отношения. Впрочем, вернемся к семантической стороне наших именных выражений, занимая в их рассмотрении позицию Фреге и других авторов, не покидающих в своих наблюдениях над другими мирами эпистемически наиболее "совершенного" мира.

Итак, выражение *планета Венера* можно считать резервированным для мира современных астрономов и всеведущих логиков и философов. Оно включает сумму смысловых характеристик своих "предшественников", очищенную от эпистемических контроверз, и будет, в терминах С. Крипке, "жестким десигнатором" (rigid designator). Имена в обеих парах – "нежесткие десигнаторы" (nonrigid designators): их сфера действия ограничена пространством одного семантического мира. Впрочем, дескрипция *планета Венера* также несвободна в своем употреблении. Эпистемические ограничения, которые можно резюмировать в терминах расселовой дистинкции знания по описанию и знания по непосредственному знакомству ("knowledge by description" и "knowledge by acquaintance" соответственно), работают и на массиве жестких десигнаторов. Вскоре мы коснемся этой темы.

Свою теорию имен Фреге распространил на анализ суждений (высказываний), и она не дала сбоев в рамках решаемых этим автором задач. Суждение *Утренняя звезда – это небесное тело, освещаемое солнцем* при подстановке на место субъекта выражения *Вечерняя звезда* меняет смысл, несмотря на констатируемое Фреге тождество их денотатов (денотатов не суждений, а именных групп). Введение безденотатных имен типа *Одиссей*, *нынешний король Франции* и т.д. переводит суждение в разряд интенциональных сущностей: оно не поддается истинностной оценке и, по Фреге, не имеет денотата. Типично интенциональными признаются придаточные предложения при косвенной речи, отсылающие к содержащемуся в них суждению.

Позднее интенциональность была объявлена свойством многих видов косвенных контекстов. Для следующего типа оппозиций важно то, что она явилась принципом формирования целых логических категорий, выделяемых с помощью языка. Разговор о логических категориях – событии, факте и пропозиции – составит содержание нашего раздела 3. Пока же в этом разделе мы подробнее остановимся на референтной стороне имен.

* * *

После исследований Фреге, с 1905 года, в работах Б. Рассела (здесь сошлемся на его работу 1919 г., рус. перевод [Рассел 1996]) именные выражения рассмотренного выше типа были признаны сокращенными дескрипциями, а их логическая структура записана в виде пропозициональной функции.

Дескрипции одновременно указывают на объект и предиктируют ему определенный признак. Исходя из их структуры, высказывание, имеющее в своем составе такое именование, имплицитно осуществляет акт идентификации: из "Я встретил человека" следует: "Я встретил x , и x есть человек" [Рассел 1996: 155]. Соответственно, фрегевское различие "смыслов" именных выражений в теории Рассела было вынесено из именной позиции – структуры индивидуального имени – в позицию предиката пропозициональной функции. Именной компонент в логической записи дескрипции (переменная пропозициональной функции) резервируется для указания на денотат.

Этим нововведением изложение взглядов Рассела на природу именных выражений обычно ограничивается. Вместе с тем теория дескрипций, относящаяся к кругу идей "раннего" Рассела, неоднократно изменялось под влиянием других, возникших позднее идей в его философии. Мы продолжим краткий ее очерк. Особый интерес на этом пути представляет то место в эволюции взглядов Рассела, где линия дескрипций обогащается другой линией его же философии – его теорией знания с выделением знания двух типов: "знания по описанию" (knowledge by description) и "знания по непосредственному знакомству" (knowledge by acquaintance). Типологии знания он посвятил отдельный очерк, датированный 1910 годом (см. изд. [Russell 1917]). (Ниже мы также частично воспользуемся материалом работ [Wettstein 1991; Lycan 1994].)

"Мы непосредственно знакомы с фактами ощущений (sense-data), со многими универсалиями и, возможно, с самими собою, но не с физическими объектами или чужими сознаниями" [Russell 1917: 231]. В этой дефиниции, как и в дефинициях других эпистемологических понятий, много неясного. Интуиция подсказывает нам, что мы скорее согласились бы ограничить предмет своих сообщений непосредственно наблюдаемыми вещами (случись вдруг такая необходимость), чем стали бы говорить о вещах, знакомых нам исключительно через описание. На самом же деле, следствием подобной интуиции была бы потеря нами возможности высказываться о чем-либо вовсе, поскольку непосредственно знакомы мы с немногим. Во всяком случае, к такому выводу склоняет нас Рассел. И вывод этот естественно проистекает из его эпистемологической теории, последовательно сопряженной с более ранней теорией дескрипций и находящейся в полном согласии с его моделью мира – логическим атомизмом, но не с нашей интуицией.

Чтобы понять эпистемологические разыскания Расселя (хотя, повторяем, в его типологии знания немало затемненных мест и даже явных нестыковок), снова обратимся к фрагменту его статьи. Итак, Рассел продолжает: "Мы обладаем *описательным* знанием объекта в том случае, когда мы знаем, что именно *этому* объекту присуще некоторое свойство или свойства, с которыми мы непосредственно знакомы. Другими словами, если мы знаем, что свойство или свойства, о которых идет речь, принадлежат только одному объекту, то можно сказать, что мы обладаем знанием этого одного объекта через описание, независимо от того, знакомы мы или нет с этим объектом. Наше знание физических объектов и чужих сознаний – это только знание через описание, причем соответствующие описания обычно включают факты ощущений. Все понятные нам пропозиции, независимо от того, касаются ли они прежде всего вещей, известных нам только через описание, состоят исключительно из таких составных частей, с которыми мы непосредственно знакомы, ибо конституенты, с которыми мы не знакомы непосредственно, нам непонятны" [Там же]. Оставим в стороне философскую сторону этого постулата и поставим вопрос о его логико-лингвистической ценности. Каким образом постулируемая Расселом закономерность проявляется в структуре пропозиции, а также в чем "непонятность" пропозиций, включающих в свой состав отвергаемые Расселом конституенты, и в целом – что представляют собой эти последние?

Непосредственное знакомство с конкретным объектом, "особью" (particular), выражается в возможности его остенсивного, не опосредованного семантикой определения. Этой цели в языке Рассела служат логически собственные имена – "я" ("I"), предполагающее знакомство говорящего с самим собой, и "это" ("this"), обеспечивающее указание на факты ощущений. (Впрочем, от признания "я" логически собственным именем Рассел отказался вскоре после первой публикации своего очерка – это явствует из его примечания к изданию 1917 г.) Большинство же вещей, о которых приходится сообщать, не являются объектами знакомства. И даже демонстративы "это" или "то" чаще употребляются для референции не к фактам ощущений, а к физическим объектам. Привилегированное положение логически собственных имен в языке представляется логической фикцией, имеющей мало общего с

повседневной языковой практикой. В теории Рассела их существование ограничено пространством метаязыка.

Вторая группа (и основная масса) имен в логическом представлении является скрытыми дескрипциями. Она-то и предназначена для референции к объектам знания по описанию. Такова большая часть имен естественного языка: они покрыты дескриптивной оболочкой, но не лишены денотативного ядра; таково преобладающее число подлежащих сообщению объектов. Чтобы идентификация известного через описание объекта состоялась, дескрипция непременно должна соотнести его с фактом непосредственного знакомства, с "особью". Выражения *мой сын*, *эта ручка*, *Лондон* и даже, предположительно, *Универсум* – в логической записи содержат отсылку к знакомым (не через описание) объектам. Будучи во многом искусственным именем, а нередко – исключительно именем логического метаязыка, восстанавливаемая дескрипция включает в состав денотативного компонента логически собственное имя. Например, логической формой выражения *эта ручка* в высказывании *В этой ручке кончились чернила* (букв. "Эта ручка истощила запас чернил" (*This pen ran out of ink*)), по Расселу, может быть дескрипция "ручка, причинно ответственная за это" (*the pen causally responsible for this*) [Wettstein 1991: 94], где "это" связывает эпистемически дистанцированный, а потому недоступный напрямую указанию физический объект (ручку) с релевантными фактами ощущений (вероятно, ими будут, например, следы чернил на листе бумаги).

Итак, основная масса имен естественного языка – это замаскированные под имена определенные дескрипции, обладающие непрямой, о п о с р е д о в а н н о й, референцией и "гибридным" строением. Содержащаяся в них идентифицирующая информация не ограничена их дескриптивным содержанием (языковым значением). Разделение семантики и референции здесь наблюдается довольно четко. Можно обладать знанием собрания качеств, которое в самом деле принадлежит некоторой вещи, утверждает Рассел, и все же совершенно не представлять себе, кто или что этим качествам отвечает [Russell 1917: 215ff.; Wettstein 1991: 107].

Особняком в классификации Рассела стоит группа выражений типа "долгожитель", "человек в железной маске". В нее, если продолжить перечень Рассела, попадает множество определенных дескрипций, подобных русским: *очень высокий человек*, *самая красивая девушка*, *настоящий художник*, *последний негодяй* и т.д. Они также служат указанию не на объект непосредственного знакомства, а на объект, знакомый через описание. Но, в отличие от дескрипций предшествующего типа, их референт не является "особью". Его статус другой: это – концепт, определяемый "совокупностью чисто качественных универсалий" (*constellation of purely qualitative universals*), приписываемых некоторой вещи, "X" (см. выше). Дескрипция *долгожитель*, конечно, относится к некоторому человеку, но мы ничего не можем сказать об этом человеке кроме того, что содержится в значении самой дескрипции (т.е. того, что человек этот, некий "X", прожил дольше других людей). В самом деле, человеком-долгожителем (если такой вообще существует) равновероятно могут оказаться, скажем, некий китаец или человек, стоящий передо мной. Не исключено также, что тот и другой будут одним человеком. Пропозиция "Автор "Веверля" – новеллист" может быть понятна людям, не подозревающим о том, что автор "Веверля" – Вальтер Скотт. Дескрипция не обеспечивает слушателя идентифицирующим знанием объекта ("knowing who") и даже не гарантирует того, что удовлетворяющий ей объект существует. Все, что мы в каждом случае в состоянии узнать о ее носителе, логически выводимо из языкового значения дескрипции и им же ограничено. Философы языка окрестили эти дескриптивные выражения "чисто квалитативным" (*purely qualitative*), имея в виду их референтный статус [Wettstein 1991: 93].

Многие идеи философии Рассела неоднократно подвергались критике и ревизии. Развития и модифицируя рассмотренную здесь теорию, оппоненты и последователи во многом сохранили ее центральное звено. Так, в более поздних понятиях референтного

и атрибутивного, прозрачного и затемненного употребления дескрипций, в различении референции говорящего и семантической референции – улавливается преemptивность обрисованной типологии.

В то же время философская презумпция о существовании двух способов знания проникла в семантические теории. Правда, соответствующие ее понятия больше не воспринимаются в номиналистическом смысле. Они потеряли специфические, "расселовские", коннотации. А взятые на вооружение философией обыденного языка, эволюционировали в сторону интуитивно ясных близких к ним понятий из эпистемической практики людей, позабыв о своей исконной ангажированности философией анализа.

Идея "чисто квалитативных" дескрипций (*purely qualitative descriptions*) также не осталась без внимания исследователей. Впрочем, несмотря на ригористичность манеры рассуждения Рассела и усилия его последователей, в целом они предстают размытым концептом теории дескрипций. В их анализе наметилось несколько самостоятельных линий. Здесь мы рассмотрим две из них. Для сторонников первой этот разряд дескрипций стыкуется с именными выражениями (и другими дескрипциями), употребленными – в рамках конкретного высказывания – в атрибутивной (а не референтной) роли. Ср.: *На остановке стояли люди. Самый высокий человек (красивая девушка, человек в железной маске и под.) заговорил (подошел ко мне, улыбнулся и т.д.)*. Выражение *самый высокий человек*, следуя анализу Рассела, здесь значит: "тот *x*, который принадлежит классу людей, стоящих на остановке, и является самым высоким представителем этого класса". Дескриптивные смыслы, удаленные из субъектной позиции, "повисают" на предикате и выполняют индивидуализирующую функцию. Но очевидно, что этот анализ не покрывает всех употреблений.

Другая линия возникает с признанием этих выражений цельными, не разложимыми на данном этапе анализа высказывания, подобными "вставкам", "чужеродным телам", "цитациям" в тексте. Она представлена в работе А. Вежицкой [Вежицкая 1982]. Мы выделим в анализе Вежицкой те фрагменты, которые сближают его с нашей методикой. Цитата вносит в авторский текст элементы чужой речи (другого семантического мира). Так, к примеру, обстоит дело с выражениями *долгожитель, последний негодяй, настоящий художник*, используемыми в интродуктивной субъектной функции. Последние – и этим они отличны от выражений типа *самый высокий человек* – для своего появления в тексте не требуют зрительного контакта и вообще – знакомства с референтным объектом. Это дескрипции, поставляемые чужим сознанием для обозначения говорящим лица как известного говорящему не через непосредственное знакомство, а через описание (другим лицом). (Будем употреблять эти термины не в расселовском, а в привычном для лингвиста и интуитивно понятном смысле.)

Другая эпистемическая ситуация, противоположная ситуации цитирования, складывается тогда, когда эти дескрипции говорящий конструирует из предикатов, принадлежащих его же языку. Наступив кому-то на ногу в транспорте и оказавшись с потерпевшим рядом на остановке, обидчик получит номинацию – *негодяй*. Ею он и будет обозначаться в тексте. В такой ситуации – и это важно подчеркнуть – способ референции относится к семантическому миру говорящего. Тем не менее факт "непосредственного знакомства" не снимает с субъекта речи обязанности указать адресату идентификационные пути, ведущие к адекватному пониманию сообщения. Напротив, способ референции в ситуации цитирования навязан говорящему другим лицом. В отрыве от прагматической ситуации источник дескрипции может пониматься двояко. ср.: *Последний негодяй на проверку оказался порядочным человеком*.

В каждом семантическом мире пространство референции естественно разбивается на две сферы (ср. [Степанов 1994]). К п е р в о й – референтному пространству говорящего – принадлежит вся область непосредственно знакомых говорящему объектов и языковых средств указания этих объектов – дейктических местоимений, имен и дескрипций. В т о р а я сфера – референтное пространство адресата – характеризуется тем же устройством, но частично не совпадает с первой по набору еди-

ниц – объектов и способов их указания. Разумеется, для успешной коммуникации необходимо максимальное пересечение этих сфер или наличие способов их соотношения.

"Чужие" номинации, адаптированные к данному акту референции и представляющие в высказывании объекты, с которыми говорящий знаком исключительно через описание, относятся к другому семантическому миру. Таковы, например, цитаты. Остальные элементы высказывания – в том числе в высказываниях о третьих лицах и в косвенной речи – в норме не знают вхождений "разномирных" референтных средств. Они ориентированы на выражение референции автора речи. Доказательству этого тезиса фактически посвящено исследование Г.-Н. Кастаньеды [Castañeda 1979]. Его позиция следующая: "Конструкции могут быть референциально прозрачными в отношении референции говорящего к объекту *O*. Очевидно, что в высказываниях о разных объектах или разных лицах некоторые из номинаций референциально затемнены, но с сохранением прозрачности смысла" [Castañeda 1979: 129–130]. Возьмем предложение: *Джон уверен, что Мэри считает его хорошим другом*. В местоимении *его* совмещены точки зрения говорящего и Джона, поскольку мир Джона может описываться пропозицией "Мэри считает *меня* хорошим другом". Но это местоимение, возможно, противоречит миру Мэри. Вообразим ситуацию, в которой Мэри не может обратиться к Джону со словами "Ты хороший друг", поскольку знает о нем исключительно со слов других людей. Тогда для экспликации референтной структуры пропозиции необходима ее следующая запись: "Джон уверен, что он является *X* и к тому же что Мэри считает *X* хорошим другом". Переменная "*X*" дает возможность избежать теоретических неудобств, вызванных несовпадением в способе обозначения лица субъектом речи и субъектами пропозициональных установок. Информационная ценность утверждений типа *Иван не знает, что Маша это та самая Маша* – в отождествлении не точек зрения (способов референции) субъекта речи и субъекта пропозициональной установки (Ивана), а разных референтных объектов, представляемых – в обоих случаях – с позиции говорящего. Роль субъекта речи – в нивелировке семантических различий, в наделении своих персонажей однородным языком, выражающим референцию говорящего (speaker's reference).

Здесь мы снова вернемся к дескрипциям. Логическое представление дескрипций в виде пропозициональной функции позволило развести в них референцию и семантику, выделив для этих целей субъектную переменную и предикат. Но ведь эта, "искусственная", операция над дескрипциями отражает "естественное" стремление языка к размежеванию в пределах суждений, по субъектам и предикатам, результатов эпистемического опыта людей – знания предмета и знания понятия о предмете; знания по знакомству и знания по описанию. Характер и количество знания обуславливают соотношение в дескрипции "референтного" и "семантического", а в целом для высказывания – задают его ориентацию в "вещном" и "ментальном" пространствах (открытую более века назад М.И. Каринским).

3

Отношения альтернативных способов восприятия ситуации, закрепленных в речевых номинациях, волновали философов логического анализа языка, пытавшихся навести порядок в объектах, первоначально известных как категории логической онтологии, – "с о б ы т и е", "ф а к т", "п р о п о з и ц и я". В трудах З. Вендлера "событие" и "факт" были открыты как бы в новом ракурсе, получив привязку к формам языка. Важно подчеркнуть, что оперирование ими теперь предполагает обращение к языковым выражениям, в рамках которых категории реализуются (см. [Вендлер 1986; Vendler 1967; Asher 1993; Степанов 1994; 1995]). При этом имеется в виду описание не типов пропозиций, являющихся диагностическими для разграничения ситуаций или миров, а их синтаксически несвободных дериватов – пропозитивных н о м и н а л и з а ц и й.

В логическом анализе речь шла об отождествлении или индивидуации событий, фактов и пропозиций, а следовательно – об установлении логико-семантической эквивалентности и внутри соответствующих этим категориям типов языковых выражений. И прежде всего тех из них, где эта проблема не снимается возвратом в физическую реальность – простым указанием на порцию пространства-времени, денотат (так, несколько упрощая, для событий), – т.е. выражений с фактообразующим и пропозитивным значениями. Пропозитивное значение описывает возможный мир, фактообразующее – задает особый модус осмысления мира, отличный от событийного. Событийное значение экстенционально, фактообразующее и пропозитивное включаются в контекст пропозициональных установок. Только модализованная пропозиция, *P* (например, *Я верю / полагаю / знаю, что P*) способна создавать эпистемическую реальность – ситуации и миры; интенциональное прочтение неполной пропозитивной номинализации необходимо для появления факта.

Факт – логическая абстракция, хотя и имеющая материальное воплощение в языке: выражением для факта является не полностью номинализованный пропозицией (imperfect nominal). "То, что приехал Иван Иванович", "то, что приехал отец четырех детей", "то, что хозяин Белки явился вчера пополудни", – будут разные обозначения для разных фактов, если даже денотативное тождество употребляемых в них дескрипций в нашем мире само по себе – непреложный факт. Поэтому факты в большей степени определяются планом смысла, а не дефектами восприятия, в них больше "ментального", чем "реального".

Облеченные в *то-что*-конструкцию номинализации имеют различное пропозитивное содержание, а их событийный заряд может быть одним, если – следуя Д. Дэвидсону – усматривать критерии идентификации событий в общности их пространственно-временных характеристик и причинно-следственных историй (см. об этом [Davidson 1980; Language 1994: 199–219, 255–297]). "Приезд Ивана Ивановича" и "приезд отца четырех детей" – два способа описания и понимания события, но не два модуса его существования (не два события). Впрочем, "приезд отца" в системе Дэвидсона будет расцениваться именно как отдельное событие ("particular") – по его влиянию на интересы сына.

Подведем предварительный итог. Для трех сообщающихся типов онтологических объектов – мира (ситуации), события и факта – имеется три диагностических типа языковых выражений. Они принадлежат к пропозитивным компонентам предложения, т.е. к компонентам, выражающим смысловые отношения непредметного, пропозитивного типа. Два типа выражений, относящиеся к факту и событию, связаны с исходным предложением, описывающим возможный мир, трансформацией номинализации.

* * *

Обращение исследователя к абстрактным сущностям и помещению миров (ситуаций), фактов и событий в онтологию лингвистики не нуждается в теоретическом обосновании. Эти объекты можно открывать и констатировать; их существование, как и присутствие в языке ответственных за них типов выражений, нельзя санкционировать. Существенным аргументом является также то, что этими структурами в познавательной и речевой деятельности оперирует человек. Говорящий в каждом случае по-разному представляет один и тот же фрагмент действительности и выбирает для сообщения о нем разные языковые структуры – из альтернативных имен, оппозитивных предикатов, противопоставленных пропозиций или номинализаций. Но использование понятий "мир", "событие", "факт" философией языка для объяснения сугубо лингвистических явлений должно иметь и практический смысл. Наш следующий вопрос мы сформулируем так: какие факторы, определяемые спецификой самих онтологических единиц, регулируют отношения обозначающих их типов языковых выражений, в том числе способность последних к взаимным преобра-

зованиям (например, препятствуют полной номинализации исходной пропозиции)? Или по-другому, в терминах выбранной нами онтологии: какие элементы должна включать в себя эпистемическая ситуация, чтобы, подчиняясь логике говорящего субъекта, свободно преобразоваться в факт или перетечь в событие?

Сразу заметим, что факты и события несимметричны в отношении к своим аргументам – возможным мирам. Возможный мир всегда дает пищу фактам. И здесь не бывает "онтологических пустот". Факты предсказуемы в том смысле, что нельзя помыслить эпистемической реальности, не выразимой на языке фактов. Связь мира (ситуации) и факта стабильна. В то же время событийный модус предъявляет к содержанию мира определенные требования. Номинализованные пропозиции в значении события ограничены не только возможностями словообразовательной системы языка, но и тем, что эпистемическое пространство мира (и значение описывающей мир исходной пропозиции) в ряде случаев недоукомплектовано признаками, релевантными для события. По этой причине нас будут в первую очередь интересовать отношения миров и событий. Именно в этом звене цепочки сообщающихся типов онтологических объектов нередки сбои. Факты же будут нами привлекаться в той мере, насколько они, обнаруживая много общих с мирами черт, контрастно оттеняют свойства событий или, лучше сказать, событийного модуса осмысления мира.

Обратим внимание на то, что возможные ситуации (миры), выделяемые по эпистемическому признаку, представляют собой наиболее вариативный разряд онтологических единиц. Информационный объем и границы ситуации (мира) могут сужаться и расширяться; пропозиция лишь очерчивает ее контуры или тщательно прорисовывает детали. Субститутом подробного описания происходящего становится перечень действующих лиц и эскиз "сцены". На семантическом "фоне" проступают контуры "фигуры". Фактическая коммуникация, дневниковые записи, письма дают примеры "внесобытийного", "контурного" письма. Событие уходит из языка, но остается в памяти рассказчика. Ср. фрагмент устного рассказа Т.Г. Винокур об "ушаковских мальчиках" [Поэтика 1996: 299]: "...Это был такой длинный-длинный большой стол // Была столовая // Столовая / была / собственно говоря очень большая комната / но казалась маленькой из-за того / что ее занимал стол // Длинный-длинный стол //" и т.д. Между тем "факультативность" событийного предиката присуща только ситуациям, занимающим нижний полюс эпистемической шкалы; по мере продвижения к ее вершине рейтинг предиката повышается: "Это была огромная комната / ...сэшено пустая / какая-то аскетическая / где / два стояли огромных рояля / вот где он (К.Н. Игумнов. – К.П.) занимался с учениками / и где тоже / он меня сажал за-а рояль / и что-то меня там учил..." [Поэтика 1996: 301].

Пропозиции, обращенные к эпистемически "опустошенному" миру, могут при номинализации принимать фактообразующее, но не событийное значение. Пространство, населенное предметами, лишенными предикатных признаков, может превратиться в факт, но не стать событием: пропозиция *В саду – дети* легко переходит в разряд подчиненной для сообщения факта (*То, что в саду дети, всех удивило*), но не для события. Номинализация *Пребывание детей в саду* (длилось долго), с включенным предикатом, не является результатом преобразования пропозиции *В саду – дети*. Она составляет семантический эквивалент пропозиции *В саду были (пребывали) дети*, а это уже другая, отличная от первой, смысловая структура. Если эпистемическая невозможность "полноценной" предикации (действия или состояния) естественно выражается пропозицией с опущенным предикатом, то экзистенциальная предикация, напротив, не обслуживает беспризнаковых эпистемических пространств. Она выражает конкретное знание. Ср. другой пример, где событийная номинализация по понятным причинам возможна: *В саду играли дети – То, что в саду играли дети, всех удивило – Игры детей в саду не остались незамеченными*. Из соположенных в высказывании *А у нас сегодня кошка родила вчера котят* (С. Михалков) двух

семантических миров мир "вчера" допускает также событийное осмысление, тогда как мир "сегодня" – только фактивное: для его событийного прочтения недостает предиката. Жизнь полна событий, "присутствие-в-мире" несобытийно.

Эпистемическая редукция ситуации имеет, однако, свой нижний предел. Каждый объект обладает совокупностью признаков. Распоряжаясь признаками объектов и самими объектами, воспринимающий ситуацию субъект не элиминирует все без остатка. Неотъемлемую часть информационного объема конструируемого возможного мира или факта и пропозиционального содержания высказывания составляет и н д и в и д у а л и з и р у ю щ а я и н ф о р м а ц и я. Когда говорят о *факте пребывания детей*, о *факте наличия стола (стула)*, имеют в виду не общее "устройство" бытия или атрибуты быта: экстракция факта осуществляется из положения дел, имеющего индивидуальный характер. Индивидуализация достигается помещением положения дел в определенный пространственно-временной локус (см. подробно [Булыгина, Шмелев 1989]). (Здесь мы не планируем рассматривать статусных характеристик элементов пропозиции.)

Локальные отношения в суждениях о действительности выполняют двойную роль: очерчивая в пропозиции контуры эпистемического мира, они участвуют в сличении ее с "оригиналом" – установлении истинности высказывания. В еще большей степени признак локализованности пропозиции релевантен для ее осмысления в модусе факта. В структуре факта значение истинности получило статус вершинного компонента благодаря выделенности в неполной номинализации показателя предикативного отношения (связки); см. [Арутюнова 1988: 155].

"Голый факт" совсем не означает "тот факт, который не поддается однозначной верификации". Первая квалификация относится к эпистемологии факта и семантической стороне фактообразующих номинализаций: факты "довольствуются малым"; вторая – верификационная – предъявляет обязательное требование к факту как логической категории: неверифицируемый или ложный факт перестает быть "фактом". С этой позиции "тот факт, что живут белые медведи" будет иметь право на существование, если он верифицируется в Арктике (но не констатируется, безотносительно к Арктике, о положении дел в Москве) и если, к примеру, там ожидали увидеть слонов (а не белых медведей). В другом же контексте незаполненность в обозначении факта валентности места ощущается как ненормативная, а сам факт становится ложным: неупоминание в содержании номинализации топологических координат чревато потерей для факта верификационных ориентиров. Так называемая "открытость" предложений в логике, т.е. их неохарактеризованность по параметру истинности – именно по причине отсутствия пространственно-временной детерминации, – результат применения логической бритвы. Она противоречит коммуникативной функции языка и практике его использования.

Из сказанного также ясно, что общие имена с предметным значением не способны к номинации фактов (если даже называемые ими объекты вездесущи): **тот факт, что дети / столы / Утренняя звезда* и т.п. *Дети, люди, столы и стулья* именуют факторы, но не факты.

Итак, чтобы событие "состоялось", его нужно *наблюдать, идентифицировать, выразить* лексическими средствами языка. Поэтому событийное значение попадает в зависимость от предикатной лексики (ср. пушкинское: *Крик, хохот, песни, шум и звон, Разгульное похмелье*). Возможные ситуации и миры, а также факты нуждаются в *знании*, а не наблюдении. Они, в отличие от событий, терпят большую информационную ущербность. Для их появления достаточно знания о положении предмета (в широком смысле) в границах освоенного человеком пространства, ср.: *Во дворе люди (людно) – Тот факт, что во дворе люди (людно)...*; *В глубине прохода, разделявшего палисадник, чернелась вывеска подвальной угляни* (Набоков). "Точки роста" для событий – в семантике предиката. Миры и ситуации в обслуживающих их пропозициях обнаруживают устойчивую зависимость от обстоятельственных локализаторов.

Вопрос "Что происходит?" обычно обращен к эпистемической ситуации в целом. Он не имплицитно подразумевает событие ответа: высказывания *В саду – дети* (но ср. нелокализованную пропозицию **Дети*) и *В саду играют дети* в ответ одинаково уместны.

Если для "рождения" событий релевантен выбор предиката, то для фактов – и интенциональная структура всей характеризующей факт номинализации: даже малое количество дескриптивной информации способно породить качественно разные факты (см. примеры выше). Случаи, когда две номинализованные субъектно-предикатные структуры, называя одно событие, констатируют (и конструируют!) разные факты, вынуждали в истории логического анализа к поиску релевантных неденотативных критериев идентификации фактов – "изнутри" называющих факты номинализаций (см. [Арутюнова 1988: 164, 174]) и свойственных фактам языка, дискурса (см. [Степанов 1994; 1995]).

Итак, ситуации в контексте эпистемических миров наименее притязательны к информационному субстрату. Это проявляется в устойчивости некоторых пропозиций – прежде всего описывающих "инкомплетивные" миры – к событийным преобразованиям. Регулярные отношения ситуаций и событий нарушаются (при неизменном присутствии фактов) и на противоположном фланге эпистемической шкалы, занятом ситуациями "полного" знания. Выше мы говорили о владении говорящим положительной информацией. Сейчас нас будут интересовать не максимально заполненные информацией пропозициональные структуры, а высказывания о ненаступивших положениях дел. Будем считать, что последние соответствуют ситуациям "полного" знания. То, что не имело места, нельзя увидеть, но о нем, зная, все же можно сообщить. В такое высказывание попадает негационный компонент.

На первый взгляд, отрицательные признаки не создают почвы для события (ср. [Asher 1993: 214–215]). Они лишают действия, состояния, процессы релевантных качеств события как онтологической единицы. Событие всегда имеет позитивное содержание. "Не-действие" же не-наблюдаемо. Оно не имеет приложения к действительности. "Минус-ситуацию" трудно заметить вследствие ее слитости с фоном. Хотя наличие в языке у отрицательных предикатов лексикализованных позитивных (контекстных) синонимов (ср. не *сказать* и *смолчать*, не *указать* и *пренебречь*, не *вспомнить* и *забыть*, не *заметить* и *пропустить* и под.) убеждает в обратном. И это легко понять. Ведь о событиях не обязательно судят по их непосредственным (позитивным) проявлениям. В отсутствии позитивных свидетельств приметы событий черпают из других источников. Прямые симптомы неосуществленных действий, непротекающих процессов и ненаступивших состояний – их причины-следствия. Если мы в какой-то момент обнаруживаем отсутствие события, появление которого предопределено логикой вещей, то сама по себе эта информация стимулирует наше обращение к событийным смыслам. Помещенная в "зримый" контекст, отрицательная информация получает положительное языковое оформление. Русский язык терпимо относится к выражениям типа *Ее неприходы становились все чаще* или *Его неприезды длились все дольше*. *Неприходы* и *неприезды* здесь – собственно-события. Только события могут итерироваться, длиться и удлиняться, выстраиваться в ряд на временной оси; факты – нет.

Двойственное поведение негативной информации закреплено в синтаксисе языка событий. Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1988: 133] в числе особенностей пропозитивного и фактообразующего значений, отличающих их от событийного значения, отметила способность пропозиций (ситуаций) и фактов иметь в своем составе отрицание. В отношении событий язык действует в режиме "обманутого ожидания": он либо блокирует событийное прочтение полной номинализации, либо оформляет новое событие, включая отрицание в значение предиката или лексикализуя его. Пример первого хода: *Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне – в последний раз...* *Сонечкин неприход ко мне был – любовь* (М. Цветаева, пример Н.Д. Арутюновой), где *Сонечкин неприход* интерпретируется в фактивном

смысле – "тот факт, что Сонечка не пришла". Пример второго хода: *Я не знаю, знаешь Ты или нет, но я-то знаю, что решающий в моей жизни факт – отсутствие серьезного отношения* (Из письма Р.О. Якобсона Г.О. Винокуру). Здесь номинализация *отсутствие серьезного отношения* лексикализует событие (а имя *факт* не является классификатором для факта). *Неприходы* и *неприезды* в паре примеров выше также демонстрируют успешное проникновение отрицания на территорию событий, не влекущее за собой семантических последствий. Отрицательная информация может ассимилироваться событием; отрицание событийной номинализации переводит ее значение в фактообразующий ранг.

4

Мы закончим несколькими общими замечаниями.

Изучение процесса восприятия при производстве высказывания – в рамке общего вопроса о соотношении высказывания и ситуации, перенесенного в плоскость философии языка, – обязывает к определению границ и объема стоящих за языковыми выражениями фрагментов онтологии. Эта проблема объединяет два основных способа анализа внутренней структуры языкового выражения – лингвистический (семантический) и логический, демонстрируя "точки соотнесения" лингвистического и логического (логико-философского) знания. Последние располагаются в области пропозициональных и именных компонентов логической схемы высказывания. Выше, говоря о логически и, по нашему мнению, онтологически значимых альтернативах на разных ее уровнях, мы выделили три такие "точки". В них, соответственно разделам 1–3, попадают: (1) структура пропозиции и ее дериватов в эпистемическом и семантическом ключе и выбор из находящихся в альтернативных отношениях пропозициональных форм языка – основы будущего высказывания; (2) семантическая структура именных выражений и ее информационное наполнение; (3) детали смысловой организации пропозиции (и пропозитивных номинализаций) и понятие логико-семантической эквивалентности альтернатив.

Среди перечисленных пункты (1) и (3), проходящие по линии пропозиций, представляются основными. Они актуализируют главный фокус вынесенной в заглавие статьи проблемы, а именно: языковые рамки и формы выражения ситуации, способы ее представления в семантике предложения и высказывания. Термин "ситуация" здесь использован нами как родовый. Он покрывает несколько частных категорий, сформировавшихся на пересечении мира "сырой" действительности и ментального мира человека, – "возможный мир", "ситуация (в узком смысле, как часть возможного мира)", "событие", "факт". Последние возникли в разное время и в разных системах в результате осмысления способов существования и устройства мира сквозь призму обращенных к миру языковых выражений с непредметными значениями. Такое онтологическое разнообразие лишней раз подтверждает мысль о том, что применительно к двум языковым выражениям бессмысленно задаваться вопросом, являются ли они обозначениями "одной ситуации" или "разных". Но можно сказать, что каждое из них выражает ситуацию в контексте определенного возможного, или эпистемического, мира или событие, или факт. Выражение *"Это еще не факт"* для нас имеет, помимо прочего, онтологический смысл: оно квалифицирует предшествующее высказывание как описание сложившейся в сознании говорящего ситуации, но не сообщение факта. "Ситуация" и "возможный (эпистемический, семантический) мир", "событие", "факт" включаются нами в лингвистическую онтологию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д. 1976 – Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 1976.
Арутюнова Н.Д. 1988 – Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
Арутюнова Н.Д. 1997 – Модальные и семантические операторы // Облик слова: Сб. статей памяти Д.Н. Шмелева. М., 1997.

- Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е. 1981 – Прагматический "принцип приоритета" и его отражение в грамматике языка // ИАН СЛЯ. 1981. Т. 40. № 4.
- Блинов А.Л., Петров В.В. 1991 – Элементы логики действий. М., 1991.
- Богуславский И.М. 1996 – Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Борхес Х.Л. 1994 – Соч. в трех томах. Т. 1. Рига, 1994.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. 1989 – Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения // ВЯ. 1989. № 3.
- Вежбицкая А. 1982 – Дескрипция или цитация: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. М., 1982.
- Вендлер З. 1986 – Причинные отношения: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1986.
- Витгенштейн Л. 1994 – Философские работы. Часть I: Пер. с нем. М., 1994.
- фон Вригт Г.Х. 1986 – Логико-философские исследования. Избр. труды: Пер. с англ. М., 1986.
- Гак В.Г. 1973 – Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики 1972. М., 1973.
- Демьянков В.З. 1983 – "Событие" в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // ИАН СЛЯ. 1983. Т. 42. № 4.
- Каринский М.И. 1956 – Классификация выводов // Избранные труды русских логиков XIX века. М., 1956.
- Падучева Е.В. 1986 – О референции языковых выражений с непредметным значением // НТИ. Сер. 2. 1986. № 1.
- Пауль Г. 1960 – Принципы истории языка: Пер. с нем. М., 1960.
- Петров В.В., Переверзев В.Н. 1993 – Обработка языка и логика предикатов. Новосибирск, 1993.
- Поэтика 1996 – Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти Т.Г. Винокур. М., 1996.
- Рассел Б. 1996 – Введение в математическую философию: Пер. с англ. М., 1996.
- РГ – Русская грамматика. Т. II, М., 1980.
- Сааринен Э. 1986 – О метатеории и методологии семантики: Пер. с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1986.
- Смирнова Е.Д. 1996 – Логика и философия. М., 1996.
- Степанов Ю.С. 1994 – Пространства и миры – "новый", "воображаемый", "ментальный" и прочие // Философия языка: в границах и вне границ. Т. 2. Харьков, 1994.
- Степанов Ю.С. 1995 – Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Фреге Г. 1977 – Смысл и денотат: Пер. с нем. // Семиотика и информатика. Вып. 8. М., 1977.
- Хинтиikka Я. 1975 – Информация, причинность и логика восприятия // ВФ. 1975. № 6.
- Хинтиikka Я. 1980 – Логико-эпистемологические исследования: Пер. с англ. М., 1980.
- Шатуновский И.Б. 1993 – Думать и считать: еще раз о видах мнения // Логический анализ языка: Ментальные действия. М., 1993.
- Asher N. 1993 – Reference to abstract objects in discourse. Dordrecht, 1993.
- Barwise J. 1989 – The situation in logic. Menlo Park (CA), 1989.
- Buekens F. 1995 – Philosophy of action // Handbook of pragmatics: Manual. Amsterdam, 1995.
- Castañeda H.-N. 1979 – On the philosophical foundations of the theory of communication: reference // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
- Cornelis G.S. 1995 – Epistemic logic // Handbook of pragmatics: Manual. Amsterdam, 1995.
- Davidson D. 1980 – Essays on actions and events. Oxford, 1980.
- Dretske F.J. 1979 – Referring to events // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
- Language 1994 – Language, mind and epistemology: On Donald Davidson's philosophy. Dordrecht, 1994.
- Lycan W.G. 1994 – Modality and meaning. Dordrecht, 1994.
- Russell B. 1917 – Knowledge by acquaintance and knowledge by description // Russell B. Mysticism and logic. And other essays. London, 1917.
- ST 1993 – Situation theory and its applications. V. 3. Menlo Park (CA), 1993.
- Vendler Z. 1967 – Linguistics in philosophy. Ithaca (NY), 1967.
- Weinstein H. 1991 – Has semantics rested on a mistake? And other essays. Stanford (CA), 1991.

© 1998 г. Е.М. ВЕРЕЩАГИН

ДВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТРУМЕНТА В ПРИЛОЖЕНИИ К КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ БИБЛИИ МИТР. ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА).

К 100-летию выхода в свет Гильтебрандтова конкорданса к Псалтыри*

The proof of the pudding is in the eating
"Проверка пудинга состоит в том, что его съедают"

Далее речь действительно пойдет о существеннейшей задаче при выполнении современного перевода Свщ. Писания на русский язык – об учете и развитии Кирилло-Мефодиевской традиции.

Сначала, однако, необходимо оценить инструменты нашего научного анализа. Без них мы или вообще не пришли бы к достигнутым выводам, или пришли бы к ним со значительно большими затратами времени и труда.

Таковых инструментов два:

1) конкордансы Петра Андреевича Гильтебрандта (Рязанского; 26.IV.1840–29.XI.1905) – к Новому Завету [Гильтебрандт 1882–1885] и к Псалтыри [Гильтебрандт 1898], недавно вышедшие в мюнхенском издательстве Otto Sagner¹ в качестве Nachdruck'a², и

2) компьютерный справочник к синодальной русской Библии [БКС 1995], разработанный в фирме CompTek International (Москва).

I

Профессор Боннского университета Гельмут Кайперт³, инициатор переизданий с и м ф о н и й (или к о н к о р д а н с о в)⁴ к церковнославянскому Новому Завету и

* Опыт рецензии в сочетании с исследованием.

¹ Издания входят в серию "Sagners Slavistische Sammlung" (соответственно Bd. 14, I–VI; Bd. 20), выпускаемую проф. д-ром Петером Редером (P. Rehder).

² Neudruck означает способ книжного издания, который по-русски обычно называется р е п р и н т н ы м изданием или фотомеханической допечаткой. Однако эти наименования, как кажется, не покрывают смыслового объема немецкого термина, поскольку Neudruck как правило сопровождается исследовательской статьей (статьями) и другими дополнительными материалами. В нашем случае в Neudruck вошли две обстоятельных статьи Г. Кайперта [Keipert 1988; Keipert 1993] и не менее обстоятельная статья Ф.В. Мареша [Mareš 1988], посвященная проблематике новоцерковнославянского языка.

³ Научная биография проф. Г. Кайперта кратко изложена в нашей вступительной заметке к его статье "Крещение Руси и история русского литературного языка" [Кайперт 1991: 85–86].

⁴ Термин сѣц-ѳон-ѳа (точная русская калька-церковнославянизм – "со-глас-ие"), как он бытует в лексикографии, имеет на латинской почве терминологическое же соответствие concordantiae, причем русские заимствования "симфония" и "конкордация/конкорданс" (через посредство западноевропейских языков) терминологически не разведены.

к церковнославянской же Псалтыри, составленных П.А. Гильтебрандтом, во вступительной статье к первой из них [Keirpert 1988, 5–19] изложил обстоятельство жизни составителя, замечательного российского лексикографа, труды которого, высоко оцененные специалистами в дореволюционное время, ныне, к сожалению, практически заброшены. В частности, Г. Кайперт с горечью пишет, что статьи, посвященной Гильтебрандту, нет в известном биобиблиографическом словаре "Восточнославянские языковеды" М.Г. Булахова, в который попали и куда менее заметные ученые⁵. О степени забвения словарей Гильтебрандта свидетельствует характерный факт. В Предисловии прот. Г. Тельписа к недавно допечатанной Симфонии 1900 г. сказано: "Все российские симфонии как к церковнославянскому тексту, так и к русскому синодальному переводу Библии носили явно неполный, выборочный характер" [Симфония 1900, ч. I: 3]. Между тем, в чем П.А. Гильтебрандта никак нельзя упрекнуть, – это именно в неполноте, выборочности его материала. Напротив, оба его словаря, безусловно, п о л н ы е симфонии славянской Псалтыри и славянского Нового Завета, решительно не допускающие увеличения словников.

Решение создать "Справочный словарь к Новому Завету" созрело у Гильтебрандта во время многолетней историко-филологической работы по описанию рукописей и древних текстов⁶, в процессе которой он пришел к убеждению, что созданные до него симфонии не только труднодоступны по своей редкости, но и неполны, да и небезошибочны. В своем предисловии П.А. Гильтебрандт [Гильтебрандт 1882–1885] критически разбирает три симфонии, опубликованные в XVIII в., – А.Д. Кантемира, И.И. Ильинского и А.И. Богданова, – и упоминает еще о пяти, опубликованных в XIX в.⁷ Среди недостатков имеющихся симфоний лексикограф указывает как на неудачную внешнюю форму размещения материала, так и на внутренние пороки ("неполнота, целая масса пропущенных цитат"; "пропуск не одних только текстов, но

Симфонии, или конкордансы, могут составляться только по отношению к дважды фрагментированным текстам, т.е. 1) в случае *scriptura continua* сплошной текст предварительно должен быть пробелами разделен на слова и 2) большие объемы текста ("главы") должны быть разбиты на относительно малые разделы, причем каждому такому минимальному разделу (в Священном Писании "стиху") должен быть приписан и н д е к с, уникальный знак, позволяющий отыскать данный раздел.

При этих условиях симфония – это алфавитный перечень в с е х употребленных в источнике (и признанных исследователем различными) слов (з а г о л о в о ч н ы х е д и н и ц), но в отличие от простого словника каждой заголовочной единице по традиции придается двойная информация: 1) индексируется каждая конкретная словоформа, тождественная заголовочной единице, и 2) по отношению к каждой словоформе указывается минимальный, но по возможности заверченный контекст. Применительно к информации первого рода Гильтебрандт ссылается на вирши одного из своих предшественников XVIII в. (И.И. Ильинского):

Един же словарь в сем нам пособляет,
по главам бо и стихам всяку речь являет.

Указанными выше признаками обладают симфонии к Свщ. Писанию, составленные российскими христианами – как православными (см., например, [Симфония 1900; Симфония 1888–1995]), так и протестантами (см., например, [Симфония 1925; Симфония 1995]). Указывать конфессиональную принадлежность составителей необходимо, потому что состав Библии в православной и в протестантской традициях определяется по-разному.

Всеобщая история создания конкордансов к Свщ. Писанию с указанием важнейших изданий хорошо суммирована в Оксфордском лексиконе [OD 1974: 327].

⁵ Добавим, что статьи "ГИЛЬТЕБРАНДТ Петр Андреевич" (и даже имени в регистре) нет и в академическом биобиблиографическом словаре "Славяноведение в дореволюционной России" (М., 1979). Отчасти сия "фигура умолчания", примененная к Гильтебрандту в б. СССР, может быть, объясняется идеологическими препонами, но чем тогда объяснить игнорирование этого ученого в зарубежных библиографиях?

⁶ П.А. Гильтебрандт в свое время издавал, в рамках деятельности Археографической комиссии Министерства Народного Просвещения, западнорусские памятники полемической литературы.

⁷ Гильтебрандт ошибочно указал год издания симфонии Ильинского, и Кайперт его поправляет – первым изданием книга вышла не в 1737, а в 1733 г. (Обстоятельные, во вкусе умной старины, выходные данные симфоний XVIII в. см.: [Вомперский 1986: №№ 27, 34, 36].)

иногда и целых речений"; неудовлетворительная "систематизация речений [...] благодаря ей некоторых речений совсем нельзя найти на своем месте, так как они оказываются причисленными к другому гнезду"). В заключение Гильтебрандт пишет: "Эти недостатки старинных симфоний и библиографическая редкость их побудили меня составить с ы з н о в а, по теперешнему славянскому тексту, полный подробный не только справочный (в этом-то и заключается вся симфония), но и объяснительный Словарь ко в с е м у (т.е. в одном алфавите, чего прежде не было) Новому завету, ко всем 27-ми книгам, входящим в его состав, – снабдив кроме того каждое речение греко-латинскими параллелями" [Гильтебрандт 1882–1885, кн. 1: XI–XII].

Назначение же симфоний Гильтебрандт определяет так: "Читая книги Священного Писания [...], трудно [...] удержать в памяти все тексты, относящиеся к известному речению или понятию. Кроме того, нередко представляется необходимым отыскать параллельное место, для лучшего объяснения того или другого текста, возбуждающего недоумение. Эта потребность и вызвала составление особого рода справочных словарей [...] – симфоний или конкорданций" [Там же: VIII].

Свои собственные выписки Гильтебрандт стал производить в конце 1878 г., выбрав для пробы Послание ап. Иакова; полученный результат был представлен митрополиту Макарию⁸ и ряду филологов – И.И. Срезневскому, П.И. Савваитову⁹, А.Ф. Бычкову. Получив от них поддержку и советы, Гильтебрандт со всей тщательностью, о которой упоминается в его же предисловии, принялся расписывать весь словарный состав Нового Завета. Затруднения, возникшие при печатании столь обширного и типографически дорогостоящего труда, побудили автора обратиться к Обществу любителей древней письменности и искусства за финансовой помощью, и Общество щедро дало средства на печатание томов, что позволило обеспечить высокий тираж, желательный также по культурно-политическим основаниям.

Пробный оттиск первого печатного листа (сс. 1–16) вышел в свет в количестве 1200 экземпляров, что вызвало в печати живой и одобрительный отклик. После того как удалось собрать необходимую сумму в 65 000 рублей, Словарь, разделенный на шесть томов, но с единой продолжающейся пагинацией, вышел в свет в 1882–1885 гг.

Г. Кайперт упоминает о множестве последовавших рецензий, и особо выделяет рецензию крупного филолога и богослова Г.А. Воскресенского, из которой приводит выписку: "Труд г. Гильтебрандта, самостоятельный, произведенный по первоисточникам и отличающийся столь высокими достоинствами исполнения, поистине составляет чрезвычайно ценный вклад в нашу духовную литературу. Это, можно сказать, труд монументальный, истинный подвиг на пользу русского духовного просвещения" [Keipert 1988: 18]¹⁰.

⁸ Митрополит Московский и Коломенский Макарий (М.П. Булгаков; 1816–1882), знаменитый историк и богослов, автор переизданной ныне 12-томной "Истории Русской Церкви". Его жизнеописание см.: [Макарий 1994: 11–32]. Поскольку все сведения о митрополите драгоценны, считаем нелишним привести воспоминания П.А. Гильтебрандта о единственной своей встрече с ним (14 марта 1879 г.): "В назначенный день и час я явился. Владыка встретил меня с большим радушием... и вел со мною беседу... о моем Словаре. Боясь утомить владыку, я несколько раз собирался откланяться; но маститый хозяин каждый раз удерживал меня и с чрезвычайным оживлением продолжал беседу. Рассмотрев рукописные карточки к Посланию Иакова и выслушав от меня план и систему всего Словаря, владыка одобрил это начинание и пожелал полного и скорого успеха. Равным образом был им одобрен выбор изданий славянского текста для составления Словаря" [Гильтебрандт 1882–1885, кн. 1: XII–XIII]. Когда вышел в свет пробный оттиск Словаря, Гильтебрандт послал его митрополиту, и митрополит откликнулся письмом (от 15 апреля 1881 г.) с высокой оценкой начатого труда. Наконец, Словарь к Псалтыри 1898 г. был прямо удостоен Премии митрополита Макария.

⁹ Г. Кайперт ошибся в инициалах: имя и отчество Савваитова – не И.И., а Павел Иванович.

¹⁰ Замечание крохобора, но все же стоит его сделать, потому что речь идет о распространенной среди зарубежных ученых практике. Случается, и нередко, что русский текст, напечатанный по старой орфографии, воспроизводится ими по правилам нового правописания, но непоследовательно. Так, можно видеть, что, к примеру, твердый знак в конце слов и десятиричное *i* устранены, а, предположим, применительно к прилагательным сохранена старая норма. Итоговые тексты-гибриды производят странное впечатление. Так

Окрыленный успехом, Гильтебрандт в 1898 г. опубликовал "Справочный и объяснительный словарь к Псалтыри".

Обстоятельства подготовки и издания второго конкорданса проф. Г. Кайперт следует в своем "Введении" [Keipert 1993]. При этом он приводит доводы, чтобы обосновать правомерность составления конкорданса всего лишь к одной ветхозаветной книге, а не ко всему Ветхому Завету¹¹. Действительно, Псалтырь вполне по праву занимает в Свщ. Писании и в церковнославянской словесности совершенно выдающееся место, так что важность справочных материалов к ней невозможно переоценить¹².

получилось и у Кайперта в его (напечатанной по-русски) пространной выписке из рецензии Воскресенского: "труды почтенного археографа", "внешность разсматриваемого труда", "способ размещения печатного набора", "все новозаветные книги", "словарь выделяется [...] своею объяснительною частию", "немногие указанные нами неточности", "подвиг на пользу русского духовного просвещения".

¹¹ Амбициозный замысел создать симфонию ко всему Ветхому Завету у Гильтебрандта был.

¹² Напомним, что Псалтырь была самой первой книгой, переведенной славянскими первоучителями. В Пространном житии св. Мефодия (XV, 4) (см., например, [Fontes 1960: 164]) она правомерно и поставлена на первое место: псалтырь во еѣ чтькѣю и евангеліе съ апостолѣмъ и избраннѣишми словѣбѣми църковнѣишми съ философѣмъ прѣблжѣнѣмъ пѣрьвѣк. Указанный порядок переводов – Псалтырь, затем Евангелие – подтверждается также текстологически.

Чтобы показать огромную роль Псалтыри для книжной культуры славян и для первого литературного общеславянского языка, сделаем краткий обзор места Псалтыри в православном богослужении.

Псалтырь славословится за каждой из девяти служб с у т о ч н о г о к р у г а (на вечерне, утрене, часах, литургии и т.д.), причем отдельные псалмы (например, 50-ый и 90-ый) прочитываются ежедневно, и не один раз. Ежедневная служба часов состоит преимущественно из псалмов, поэтому читающий часы клирик обычно и называется псаломщиком. Ежедневная утренняя содержит три кафизмы, и чтение кафизм составляет ее важную часть. Псалтырь разделена, как известно, на 20 кафизм, так что вся книга целиком прочитывается за неделю. (Великим постом она прочитывается дважды в неделю.)

Псалтырь составляет также главное содержание т р е б (крестин, венчаний и других частных богослужений). Например, при отпевании покойника вычитывается 17-я кафизма (по первому слову она называется "непорочны"). Над покойником-мирянином дома или в храме принято непрерывно читать Псалтырь.

Псалтырь непременно входит в молитвенное правило как инока, так и мирянина. Например, есть особый чин пения д в е н а д ц а т и п с а л м о в в келье инока или в доме светского человека.

Наряду со сплошным вычитыванием, в богослужении еще используются: подборки псалмов (например, т.н. шестопсалмие, хвалитны, изобразительны); отдельные псалмы (они обычно называются по первым словам: "блажен муж"; "благословлю Господа"; "помилуй мя Боже"; "живый в помощи Вышней"; "на реках Вавилонских"); цепочки псаломских стихов (например, "Бог Господь"; "Господи возвах"; полиелей; псалми избранныи); отдельные стихи (называемые по тому моменту службы, когда они выпеваются или вычитываются, – прокимны, аллилуирии, причастны); подражания псалмам (например, степенны, составленные по образцу псалмов 119–133).

Известно несколько видов Псалтыри как типа рукописной и печатной книги.

Для домашнего и келейного употребления предназначены: Псалтырь-ч е т ь я – (без комментариев, но часто с прибавлением т.н. библейских песен); т о л к о в а я Псалтырь (с комментариями Исихия Александрийского [в славянской традиции они, правда, ошибочно приписаны Афанасию Александрийскому] и Феодорита Кирского); у ч е б н а я Псалтырь и, наконец, г а д а т е л ь н а я Псалтырь.

Для употребления преимущественно в храме были созданы: Псалтырь "с воследованием" (или "следованная"; это, грубо говоря, настолько пополненная Псалтырь, что с ее помощью в случае нужды [например, в бедном сельском храме] можно править все службы, за исключением литургии); Псалтырь "смесного пения" (в разделении на две книги для антифонного [попеременного] пения на клиросах).

Кроме того, псалмы полностью или частично входят в состав многих богослужебных книг (часослова, молитвослова, служебника, требника, ирмология, октоиха, минеи, триоди, служебного Евангелия, служебного Апостола).

Как необходимая для богослужения и наиболее читаемая христианская книга, славянская Псалтырь пришла на Русь сразу же с принятием христианства (988 г.). Она была очень быстро и прочно освоена, и не только духовенством. Так, в "Повести временных лет" уже под 1015 г. отмечено, что мирянин (св. князь Борис) сам правил утреню и вычитал на ней и шестопсалмие, и кафизмы. Распространилось знание Псалтыри наизусть: например, Киево-Печерские монахи свв. Спиридон и Никодим (XII в.; память 31 октября), послушанием (работой) которых была выпечка просфор, на протяжении тридцати лет ежедневно за своим делом (то есть не по книге) выпекали всю (!) Псалтырь.

Самая древняя славянская псалтырь – Синайская (XI в.). На территории б. СССР хранятся следующие

Высочайшая степень усердия, огромные затраты времени, добросовестность, отменное прилежание – все эти качества лексикографа увенчались полным успехом. Перед нами безупречные и потому – **вечные** книги. В послереволюционное время никто всерьез не помышлял и сейчас не помышляет о переработках церковнославянской Псалтыри и церковнославянского Нового Завета, так что к Гильтебрандту будет обращаться еще не одно поколение заинтересованных лиц. Остается только пожалеть, что в Россию поступило все же очень мало экземпляров Nachdruck'a¹³.

Способы его успешного использования, в частности, в научной работе могут быть разнообразными, и один из них излагается далее (в статье разделы III–IV). Сам составитель Справочника едва ли мог предвидеть все перспективы для исследовательской работы, открываемые его произведением.

II

Через столетие после изданий Гильтебрандта стал доступен Библейский компьютерный справочник [БКС 1995], выполненный на основе Библии в синодальном русском переводе [Библия 1968].

Собственно, Компьютерный справочник (если отвлечься от других его возможностей¹⁴) представляет собой, наряду с введенным в ЭВМ полным текстом Библии, обычную симфонию, однако такой симфонией теперь можно пользоваться намного эффективнее.

С помощью Компьютерного справочника можно быстро найти и тут же распечатать все стихи Библии (или любого состава библейских книг), содержащие интересующие пользователя единицы – как одно-единственное слово, так и несколько слов.

Составители справочника в Руководстве пользователя в этой связи утверждают: "Лексический поиск, реализованный в Справочнике, полностью учитывает морфологию русского языка – по любой заданной форме слова будут найдены все остальные его формы. Например, поиск по слову *я* даст все формы – *мне, меня, мною, мной*" [БКС 1995: 5]. Для обеспечения деятельности программы Справочник снабжен грамматическим словарем русского языка на 120 тыс. слов, позволяющим отождествлять различные морфологические формы одной и той же лексемы.

Так, всего за полчаса работы мы на материале Псалтыри путем запросов получили следующее предварительное представление о глагольной сочетаемости выбранной наугад лексемы *слово*:

(по)верить слову – 105 12¹⁵, 105 24
внять слову – 77 1, 53 4
возгласить слово – 118 172
воспротивиться слову – 104 28
восхвалять словом – 55 5, 55 11

древние псалтыри: Бычковская, Евгеньевская, Чудовская (все – XI в.), Толстовская (XI–XII вв.), Си-моновская, Дечанская, Погодинская (все XIII в.). Рукописные псалтыри обычно исполнялись на лучшем пергамене, размером в лист, торжественным уставным письмом и богато иллюстрировались.

¹³ Он должен быть дореволюционным в России, и так же массово, как словарь прот. Григория Дьяченко [Дьяченко 1898]. В последние годы фотомеханически переиздается множество духовной литературы, в том числе и словарей (переиздание "Полного церковнославянского словаря" прот. Григория Дьяченко может служить как раз хорошим примером), но словари П.А. Гильтебрандта все еще остаются недоступными. Лишь однажды автор данных строк видел на книжном развале грубо выполненную на ксероксе и кустарно переплетенную дореволюционную "Словаря к Псалтыри".

¹⁴ В частности, Справочник дает возможность группировать стихи тематически.

¹⁵ В Справочнике отсылка к стиху источника производится так: сначала указывается сам источник в сокращенной записи (Псалтырь – Пс); затем номер главы (номер псалма) и номер стиха внутри главы, причем эти две цифры отделены друг от друга пробелом. Иные средства в одном адресе (постановка запятой, конфигурация цифр большого и малого кеглей и т.д.) не используются. В настоящей статье удержана данная система отсылок.

вспомнить слово – 104 42
дать слово – 67 12, 111 5, 118 42, 118 132, 140 4
забыть слово 118 16, 118 139
заповедать слово – 104 8
извратить слово – 55 6
излить слово – 44 2
исполнять слово – 102 20, 104 19, 148 8
покоряться слову – 106 11
послать слово – 104 28, 106 20, 147 4, 147 7
приклонить ухо к слову – 16 6, 77 1
произнести слово – 17 1, 58 13
соблюдать слово – 118 57
сотворить словом – 32 6, 118 65
углубиться в слово – 118 148
уповать на слово – 118 49
услышать слово – 5 2, 16 6, 53 4, 137 1, 137 4, 140 6
утвердить слово 118 38, 118 89, 118 133
хранить слово 118 17, 118 67, 118 101, 118 158

Полученный результат внушает обоснованную надежду на успешное применение автоматизации лингвистических исследований в палеославистике, о чем и говорится непосредственно ниже. Одновременно выявились, правда, досадные погрешности в функционировании Справочника¹⁶.

III

Трюизм: любая симфония, любой справочник создаются не ради самих себя, а для дальнейшего использования. Еще один трюизм: сложение потенциалов двух инструментов приводит к результату, который был бы невозможен при их раздельном использовании.

Так, именно совместное использование справочников Гильтебрандта и Компьютерного справочника позволяет успешно проверить, насколько в синодальном переводе Библии на русский язык реализованы принципы вдохновителя этого перевода митр. Филарета (Дроздова; 1782–1867)¹⁷. Поскольку весьма вероятно, что этих принципов будут держаться исполнители поновления русской Библии или совсем нового, современного ее перевода, – конечно, признающие для себя руководящую роль конфессиональной традиции¹⁸, – выполнить такую проверку важно именно ради перспективы.

Точка зрения митр. Филарета, изложенная им в известном труде "О догматическом достоинстве..." (см. [Филарет 1845: 375–394]), по своей сути сводится к одному-единственному, хотя и двусоставному, тезису: перевод на современный язык должен осу-

¹⁶ Так, когда был сделан запрос на сочетание {уповать, слово}, на экране появился только стих 118 49, а другие стихи, затем выявленные сплошным просмотром списка лексемы слово, – не были обнаружены (118 74, 118 81, 118 114, 118 147, 129 5). Идеолог и менеджер проекта А.Ю. Волож в устном разговоре признал, что приведенное выше глобальное заявление, будто бы по одной форме слова выявляются все его остальные, не справедливо. Действительно, даже формы уповать (118 49) и уповаю (118 81, 118 114, 118 149, 129 5) ЭВМ не соотносит; не соотносятся возвратные формы глагола (например, исполнять [102 20, 104 19, 148 8] и исполняться [104 19]), а также более сложные морфологические случаи (типа внять [77 1] и внемли [53 4]) и т.д. Этих погрешностей можно избежать обращением к диалоговому окну "Словарь", что естественно, делает поиск более трудоемким и более продолжительным. Иными словами, наш опыт показывает: в его нынешнем виде Компьютерный справочник 1995 г. пока является хорошим инструментом лишь для предварительных, "прикидочных" разысканий. Если же нужна сплошная выборка лексики, то надо не забывать о несовершенстве соотнесения морфологических форм. Не сомневаемся, что в следующей версии Справочника это несовершенство будет изжито.

¹⁷ Его канонизация, по обретении мощей (октябрь 1994), состоялась в декабре 1994 г.

¹⁸ Такова, между прочим, позиция Римско-Католической Церкви, отраженная в руководящем документе "Интерпретация Библии в Церкви". Изложение документа и его оценку с православной точки зрения см. [Верещагин (в печати)].

ществляться с языков оригиналов (т.е. с еврейского и греческого), но, поскольку русский и церковнославянский языки чрезвычайно близки, традиция библейского текста, восходящая к трудам Кирилла и Мефодия, должна быть насколько возможно удержана.

В дальнейшем такого же взгляда придерживался крупнейший российский библеист И.Е. Евсеев. Он представлял себе ход работы над русской Библией в виде сменяющих друг друга этапов: сначала изучается Кирилло–Мефодиевская редакция славянского текста; затем выполняется (или поновляется) русский перевод при постоянной его сверке со славянской редакцией [Евсеев 1916]. Такова же позиция другого крупнейшего русского библеиста – А.В. Карташева [Карташев 1947].

Развернутая аргументация митр. Филарета и его последователей в поддержку подобной техники работы – богословская, текстологическая и прочая, – хотя и не может быть здесь изложена, заслуживает самого внимательного к себе отношения.

Описанная процедура отличается от "обычной" переводческой деятельности. Языки церковнославянский и литературный русский связаны отношением лексического преемства, что позволяет, невзирая на возмущающий эффект межъязыковой паронимии¹⁹, удерживать в русском переводе немало общих для двух языков лексем. Может быть, поэтому следовало бы скорее говорить не о переводе, а о переложении со славянского на русский²⁰.

Как бы то ни было, хотя не вся славянская лексика в русской версии может быть сохранена, все же максимальное внимание к ней и многократное обдумывание каждого случая отказа от нее – таков, по представлениям митр. Филарета и единомысленных ему ученых, путь создания (ново)русского Свщ. Писания. Подробнее об этом см.: [Верещагин 1994].

После сказанного обратимся к гипотезе, верифицировать которую помогли два библейских справочника.

Допустим на время, что сохранение в русском переводе церковнославянской лексики есть следование Кирилло–Мефодиевской традиции, а замена лексемы на какую-либо другую есть отступление от нее. Тогда важно выявить случаи такой замены (или иных модификаций), обсудить их необходимость, оценить их количество, и затем можно будет на основании непреложных фактов говорить о степени удержания в синодальной русской Библии традиции славянских первоучителей, степени следования завету митр. Филарета или отказа от него.

Решить эту задачу и помогает попарное наложение лексических гнезд из справочников Гильтебрандта и Компьютерного справочника.

Пусть отправной точкой для исследования выступит лексема *слово/слово*. На ее месте могла бы быть и любая другая, общая для двух языков. Ограничимся пока материалом одной Псалтыри.

По отношению к названной единице были выполнены механические манипуляции. Сначала извлекались списки стихов как для лексемы *слово*, так и для лексемы *слово*. Наложив затем оба списка друг на друга, мы получили общий перечень и в нем поместили единицы, которые представлены или только в Славянской Псалтыри (далее сокращенно: СП), или только в Русской (РП). Следовательно, нижеследующий итоговый перечень является дифференциальным, и дифференциация такова:

адреса стихов, в которых лексема *слово* присутствует в СП, но отсутствует в РП, исполнены полужирным шрифтом (например, 7 2);

стихи, в которых, наоборот, *слово* отсутствует в СП, но имеется в РП, заключены в квадратные скобки (например, [5 2]);

обычным светлым корпусом (например, 11 7) набраны номера псалмов и стихов, в которых *слово/слово* содержится как в СП, так и в РП.

¹⁹ О чем, со ссылками на О.А. Седакову, писал Г. Кайперт [Keipert 1993: 11–14].

²⁰ Великолепный пример подал А.С. Пушкин: заменяя морфологию и синтаксис, но сохраняя славянскую лексику, он переложил великопостную молитву Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего".

Дифференциальный перечень стихов СП и РП,
содержащих лексему слово/слово:

[5 2], 7 1, 11 7, 16 4, 16 6, 17 1, 17 31, 18 5, 18 15, 21 2, 32 4, 32 6, [33 14], [35 4], 40 9, 44 2, 49 17, 50 6, [53 4], 54 22, 55 5, 55 6, 55 11, 58 13, 63 4, 63 6, 64 4, [67 12], [76 9], [77 1], 90 3, 102 20, 104 8, 104 19, 104 27, 104 28, 104 42, 105 12, 105 24, 106 11, 106 20, 108 3, 111 5, 118 9, 118 11, 118 16, 118 17, 118 25, 118 28, 118 38, 118 41, 118 42, 118 42²¹, 118 43, 118 49, 118 50, [118 57], 118 58, 118 65, 118 67, 118 74, 118 76, 118 81, 118 82, 118 89, 118 101, 118 103, 118 105, 118 107, 118 114, 118 116, 118 123, 118 130, 118 133, 118 139, 118 140, 118 147, 118 148, 118 154, 118 158, 118 160, 118 161, 118 162, 118 169, 118 170, 118 172, 129 5, 136 3, [137 1], [137 2], [137 4], [138 4], 140 4, [140 6], 144 13, 147 4, 147 7, 147 8, 148 8.

Таков результат механических манипуляций. Наступает время содержательного анализа. Всего анализируем 16 случаев, которые ниже пронумерованы цифрами в круглых скобках слева.

Нас интересует, с одной стороны, по какой предполагаемой причине исполнители РП²² отказались от употребления лексемы *слово*, которая явно присутствует в русском языке и, следовательно, можно было бы ожидать, что она будет сохранена. С другой стороны, мы стремимся выяснить, по какой вероятной причине исполнители РП ввели в свой текст лексему *слово* там, где в СП ее не было.

Для дальнейшего нам потребовались еще две симфонии: одна – для масоретской версии Псалтыри, и мы обратились к [ТН 1984] (поскольку в этом справочнике содержится надежная статистика, в том числе отдельно по Псалтыри); другая – для версии Септуагинты [Concordance 1897].

Что касается самих изданий Псалтыри на еврейском и греческом языках, то выписки производятся из общепринятых научных публикаций – [Biblia Hebraica 1983] и [Septuaginta 1971]. Когда (в редких случаях) необходимо обратиться к Вульгате, предпочитаем Климентову версию [Biblia Sacra 1965], так как она ближе к славянской. СП цитируем по синодальному изданию [Біблія 1904], РП – по изданию Московской Патриархии [Библия 1968]. Прописные буквы учитываются только по отношению к РП. Нумерация псалмов, в том числе и по отношению к масоретскому тексту, – по версии Септуагинты.

(1) [5 2]: глаголы моѡ внѣши гдѣи
услышь, Господи, слова мои

Надо думать, что исполнители РП потому предпочли лексему *слово*, что лексема *глагол* хотя и присутствовала в русском языке, но уже воспринималась как устаревшая. Мотив отказа от церковнославянизма, таким образом, предположительно состоит в желании исполнителей соблюдать гомогенность русской речи.

(2) 7 1: ѡслово давидѡ, ѡгоже воспѣтъ гдѣви ѡ словеса хъ христовыхъ
плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса

В Септуагинте причина предпочтения лексемы *дело* не может быть усмотрена, потому что в ней читаем: ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσι. Нет основания и в Вульгате: *pro verbis Chusi*.

²¹ В стихе 118 42 лексема *слово* в СП употреблена дважды, а в РП только один раз. Ср. ѡвѣщаніа поношійоуимъ мѣ слово (в РП: *ответ*), ѡкѡ оуповахъ на словеса твоѡ.

²² Над синодально одобренным переводом Псалтыри, как известно, трудился семитолог Даниил Абрамович Хвольсон (1819–1911). В какой мере он учитывал предшествующие переводы Г.П. Павского (1787–1863) и архимандрита Макария (М.Я. Глухарева, 1792–1847), пока, кажется, не исследовано. Все трое были приверженцами Иеронимова принципа *hebraica veritas*. Г.П. Павский и архим. Макарий за мнимые искажения Свщ. Писания подвергались прещениям священноначалия. См. подробнее: [Чистович 1899; Вругер 1982].

Поскольку, однако, исполнители РП, как известно, переводили по масоретской Псалтыри, причина кроется в опоре на еврейский оригинал: על-דבריי-כוּשׁ [эль-див^ере-хуш]. Лексема דָּבַר [давар], хотя и имеет главным значением 'то, что говорится; слово (Wort)', одновременно может значить и 'содержание говоримого; дело (Sache)' [ТН 1984, I: 437]. Видимо, переводчики посчитали второе значение более отвечающим контексту.

(3) 16 б: оуслыши глаголы моѡ
услышь слова мои

Тот же случай, что в примере (1).

(4) [33 14]: оудержи ѡзѡкъ твой ѡ сла, и оустниѣ ѣ же не глаголати
льсти
удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов

В СП перевод выполнен по Септуагинте: τοῦ μὴ λαλήσαι δόλον. В РП отразилась версия масоретов: מִדְּבַר מִדְּבַר [ми-дэбер мир^сма(x)]

(5) [35 4]: глаголы оустѣ егѡ беззаконнѣи и лѣсть
слова уст его – неправда и лукавство

Тот же случай, что выше (1) и (3).

(6) 50 б: ѡкъ да ѡправдишиса во словесѣхъ твоихъ
так что Ты праведен в приговоре Твоем

СП следует версии Септуагинты: ὅπως ἂν δικαιοθῆῃς ἐν τοῖς λόγοις σου, а РП не следует ни масоретской версии: הַלְמַעַן לִמְעַן תִּצְדַּק בְּדַבְרֶךָ [л^е-ма'ан тиц^едак б^е-дав^ереха], ни, естественно, версии Септуагинты.

Можно только предположить, что в использовании лексемы *приговор*, явно принадлежащей к юридической сфере, исполнители РП желали остаться в пределах дистиха parallelismus membrorum и пошли дальше, чем сочинитель псалма: Ср.:

праведен в приговоре Твоем
и чист в суде Твоем.

Здесь видно, что в РП обе лексемы восходят к юриспруденции, тогда как в еврейской Псалтыри – только одна (в [ТН 1984: 438] специально подчеркнуто, что דָּבַר вообще не встречается как юридический terminus technicus).

(7) [53 4]: внѣши глаголы оустѣ моихъ
внемли словам уст моих

Тот же случай, что в примерах (1), (3) и (5).

(8) 63 4: напругѡша лѡкъ свой, вещь гбрькѡ
напрягли лук свой – язвительное слово

СП, как обычно, добросовестно следует Септуагинте: ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν πρᾶγμα πικρόν. Толковники, надо полагать, – если только у них перед глазами была масоретская версия: מִדְּבַר מִדְּבַר [дар^сху хицам давар мар], – распознали многозначность лексемы דָּבַר и на сей раз, исходя из контекста, вместо обычного соответствия λόγος употребили πρᾶγμα. (Точно так же и в Вульгате: intenderunt arcum rem amaram).

Что же касается исполнителей РП, то они перевели דָּבַר обычным образом – как слово. Поскольку מֶרַח и πικρός – 'горький' – лексика из сферы вкусовых ощущений, атрибут *язвительное (слово)* скорее всего, обусловлен привычной сочетаемостью опорной лексемы.

Если верна наша догадка о том, что исполнители РП были настолько внимательны

к parallelismus membrorum, что шли дальше самого псалмопевца, то перед нами еще один случай создания цельного дистиха с перекрестным параллелизмом:

изострили язык свой, как меч;
напрягли лук свой – язвительное слово.

Тематически попарно соотнесены: *изострять/напрягать, язык/слово, меч/лук*. Если бы была сохранена лексема *вещь*, то характерная для parallelismus membrorum тематическая соотнесенность лексики в паре *язык/вещь* была бы разрушена. Надо сказать, что подобное же решение сохранить параллелизм принял и М. Бубер²³ (очень внимательный к букве исходного текста) в своем переводе Псалтыри [ВР 1992].

(9) 63 б: оутвердиша себѣ с л о в о лѣкавое
они утвердились в злом намерении

СП следует греч. тексту, который в свою очередь не отличается от еврейского: ἐκράταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον ποῦρόν; לַעַז וְלִמְזִמָּה דַּבְּרָה לָהֶם [й'хаз'еку ламо давар ра'].

Представляется, что исполнители РП в данном случае решились прояснить текст. На самом деле, как однозначно понять: *утвердили себе слово лукавое*? Трудившиеся над РП предложили читателям свою интерпретацию. Если продолжить на время сопоставление их практики с результатами труда Бубера (повторим: крайне внимательного к оригиналу), то немецкий ученый, напротив, устранить многозначность оригинала не отважился: sie machen böse Rede sich fest.

(10) 64 4: с л о в е с а беззаконникъ превозмога насть
дела беззаконий превозмогают меня

В Септуагинте, как и ожидалось, видим: λόγοι ἀνομιῶν, а у масоретов: דַּבְּרֵי עוֹנוֹת [дивре 'авонот], причем в последнем случае контекст не снимает семантического синкретизма лексемы דַּבְּרֵי, так что ряд переводчиков Псалтыри остается при понимании דַּבְּרֵי как *слова*. Таким образом, перед нами еще один случай прояснения смысла исполнителями РП (аналогичный 63 б).

Заметим попутно: *беззаконникъ* на *беззакония* переменено правильно, потому что славянский переводчик в свое время или имел перед глазами ἀνομιῶν, или же (если все-таки было ἀνομιῶν) не заметил йоту; во всяком случае, в древнейшей славянской Псалтыри (Синайской) уже читается: *словеса безаконникъ*.

(11) [67 12]: гдѣ дастъ глаголъ благовѣствѣющимъ сіюлю мно́гою
Господь даст слово: провозвестниц великое множество

Тот же (уже пятый) случай, что выше (1), (3), (5) и (7). Чтобы больше к замене лексемы *глаголь* лексемой *слово* не возвращаться, укажем здесь дальнейшие подобные случаи: [76 9], [77 1], [137 1], [137 4] и [140 6]²⁴.

Нас интересует сейчас исключительно судьба лексемы *слово*, и мы не хотели бы отвлекаться, но вообще говоря стих [67 12] труден для понимания и заслуживает отдельного анализа, тем более что он целиком входит в благословение диакона перед чтением Евангелия за литургией и, стало быть, имеет – по праву? или только по традиции? – прообразовательное значение²⁵.

Архиеп. Ириней, по своему разумению подравнивавший СП к еврейскому тексту, дал интересную, но всё же маловероятную версию: *гдѣ дастъ глаголъ, благовѣстницы сіялѣ мно́гой (рекѣтъ)* [Ириней 1903]. Таким образом, он отказал стиху в прообра-

23... die wie ein Schwert ihre Zunge wetzen, als ihren Pfeilbogen spannen bittere Rede.

²⁴ Глаголь заменяется не только на *слово*, но еще и на *речь* (18 3, 51 6).

²⁵ Он труден только в масоретской Псалтыри и в зависящей от нее РП. В Септуагинте и в СП этот стих вполне прозрачен.

зовательности. Пс 67 – в силу поврежденности текста один из самых трудных для понимания.

❖ (12) 90 3: אִכְּךָ תֹּיִן יִצְבְּאִיתִיךָ תָּא ... וְ מִ סְ ל ו ו ע ס ע מַתְּעֵינָהּ
Он избавит тебя ... от гибельной я з в ы

В Септуагинте: ἀπὸ λόγου ταραχῶδους, но у масоретов: מִדְּבַר לִמְדֵי (ми-девер (х)авот), буквально: "от дел опасности, напастей, несчастья", причем имплицитно предполагается внезапность. Переводчики Псалтыри так и оставляют предикацию 90 3 в общем виде²⁶, однако исполнители РП предпочли ее конкретизировать путем замены родовой номинации на видовую. При этом им пришлось отступить от традиции, и читателям РП это отступление сразу заметно (ведь пс 90 Живый въ помощи вышнего, как и пс 50 Помилуй мя еже, большинство православных знает наизусть именно церковнославянски).

У архиеп. Иринаея – общая номинация: וְ מִ גְּזֵי בִּיתֵי לְעַבְדֵי יְהוָה.

(13) 118 42: וְ בִּשְׂאֵי הַיָּמִים אֲנִי מִ סְ ל ו ו
и я дам о т в е т носящему меня

И в Септуагинте, и у масоретов здесь употреблена лексема λόγος и דְּבַר, и оборот, действительно, для современного сознания представляется плеонастическим. Не в этом ли причина, по которой исполнители РП решились элиминировать "излишнее" слово как солецизм? Кроме того, здесь в пределах дистиха лексема слово назойливо повторяется дважды, что, конечно, оскорбляет ухо стилиста:

וְ בִּשְׂאֵי הַיָּמִים אֲנִי מִ סְ ל ו ו
אִכְּךָ אֶפְתָּאֲךָ מִ סְ ל ו ו עֲשֵׂי תְּוֹ

(14) [118 57]: חֵסֶד יְהוָה אֲנִי מִ סְ ל ו ו
удел мой, Господи, сказал я, соблюдать с л о в а Твои

Здесь РП согласована с евр. текстом: לְשֵׁמֶר דְּבַר יְיָ [ли-шемор д'вареха]. СП согласована с греч. текстом: φυλάξασθαι τὸν νόμον σου. Версия масоретов и версия Септуагинты, однако, как легко заметить, – рассогласованы между собой. Поскольку соответствие דְּבַר // νόμος является высокочастотным и так как разрыв этой связи маловероятен, можно уверенно предположить, что семьдесят толковников в свое время имели перед глазами такой еврейский текст, в котором на месте דְּבַר стояло: דְּבַר. Кстати сказать, подобная догадка – судим на основании конкорданса к Септуагинте [Concordance 1897: 947–949] – на фоне 220 случаев употребления лексемы דְּבַר в Ветхом Завете допустима еще всего лишь в двух случаях: Втор 32 45 и Иер 34(27) 18.

Рассогласование это имеет не содержательный, а вербальный характер, потому что דְּבַר יְהוָה 'слово Господне' – это полный синоним דְּבַר יְהוָה 'закон Господень'.

(15) [137 2]: אִכְּךָ הִגְדִּיתָ עֵשֶׂת נֶאֱדָרָה וְ כָּל שְׁמֵי יְהוָה אֲנִי מִ סְ ל ו ו
Ты возвеличил с л о в о Твое превыше всякого имени Твоего.

Примечательно, что СП (причем начиная с Синайской псалтыри) не следует Септуагинте: ὅτι ἐμεγαλυνας ἐπὶ πάντων ὀνομάτων τὸ λόγιόν σου (нет видимой основы для атрибута с в а т б е).

Впрочем, текст Септуагинты в данном случае точно не установлен: вариант с τὸ λόγιόν восходит лишь к Пентапле Оригена.

²⁶ Например, если остаться в немецкоязычной традиции, то в авторитетной Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift – aus allem Verderben.

РП, напротив, точно соответствует тексту Танаха: כִּי־הִגְדַּלְתָּ עַל־כָּל־שֵׁמָךְ אֱמַרְתָּ [ки хиг^сдал^ста 'эль-кал-шим^сха 'им^сратеха], причем примечательно, что здесь употреблена не более частотная лексема דַּבַּר, а менее употребительное слово אָמַר [‘эмер] (с вариантом אָמַרְתָּ [‘им^сра(х)] ‘речение’ (как *nomen unitatis*: ‘отдельно оформленное изречение’), которое обычно переводится на греческий дифференцировано – как λόγους, но на славянский безразлично – как **с**л^ов^о (частотнее – формы множественного числа).

Остается только высказать догадки относительно происхождения славянской версии: вместо τὸ λόγιον в еврейском тексте толковников стояло или было прочитано τὸ ἄγιον?

(16) [138 4]: **а́кв нѣсть лъ с т ѝ въ ꙗзыцѣ моѣмъ**
еще нет слова на языке моем

В РП – как в Танахе и в основном тексте Септуагинты в издании Ральфса (следующему за Psalterium Gallicanum): כִּי אֵיךְ מִלָּה בִּלְשׁוֹנִי [ки 'эин мила(х) бил^сшони] (מִלָּה – ‘слово’; поэтический синоним лексемы דַּבַּר²⁷) и ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος ἐν γλώσσῃ μου. Версия СП – по Септуагинте младшей части Синайского кодекса [V в.]: οὐκ ἔστιν δόλος ἐν γλώσσῃ μου, тогда как в кодексах Ватиканском, старшей части Синайского [IV в.] и Александрийском читается: λόγος ἀδικός. Не место и не время углубляться в текстологию Септуагинты, с которой переводили первоучители, но можно быть уверенным, что в их источнике было δόλος, а не λόγος.

Архиеп. Ириней поправляет, однако, по масоретскому тексту: **а́кв нѣсть с л о в а на ꙗзыцѣ моѣмъ.**

IV

Надежда на то, что механическое наложение симфонии СП Гильтебрандта на симфонию к синодальной РП значительно сократит поиск показательного материала и будет иметь содержательные последствия, – оправдалась полностью.

Сколько случаев дивергенции между двумя списками выявила ЭВМ, точно столько же случаев (в условном смысле) отступления от Кирилло-Мефодиевской традиции и было установлено в качественном анализе.

Мы смогли отказаться от просмотра материала сплошь. При этом речь идет не просто об экономии времени. Автоматизация начального этапа работы привела к тому, что внимание исследователя как бы принудительно привлекалось к фактам, которые, весьма вероятно, при сплошном просмотре были бы упущены.

В заключение подытожим изложенный выше атомарный поиск и оценим результаты с точки зрения следования завету митр. Филарета. Summa состоит из четырех пунктов.

Во-первых, исполнители РП последовательно устраняли “чистые” (т.е. неупотребительные в русском) церковнославянизмы, обеспечивая (по своим представлениям) стилистико-языковую гомогенность русского текста Псалтыри²⁸. Ср. выше случаи: (1), (3), (5), (7) и (11).

Во-вторых, исполнители РП (в согласии со своей установкой) действительно неуклонно руководствовались масоретским текстом, и когда он отклонялся от Септуагинты, ее варианты не принимались во внимание²⁹; см. выше случаи (2), (4), (14),

²⁷ Ср. в Вульгате: *non est sermo in lingua mea.*

²⁸ Лексему глаголь как соответствие евр. דַּבַּר и греч. λόγος они полностью вывели из Псалтыри. Между тем так ли уж она была чужда русскому языку середины прошлого века? Державинский “глагол времен” и пушкинские строки (“Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснётся...” ; “Глаголом жги сердца людей”) и до сих пор вполне понятны...

²⁹ Пронаблюдать за справедливостью сказанного легко при сопоставлении русского перевода П.А. Юнгера (1856–1921) [Юнгеров 1915], сделанного строго по тексту Септуагинты, с русским букваль-

(15), (16). Кажется, перед нами явное отступление от программы митр. Филарета. Правда, митрополит говорит о необходимости удержания версии Септуагинты лишь в богословски ответственных случаях, а таковых в нашем (крайне ограниченном материале) не оказалось. Между тем, на наш взгляд, удерживать Септуагинту иногда имеет смысл как ради верности Преданию, так и по причине большей вразумительности³⁰.

В-третьих, – и этот результат мы никак не могли предвидеть, – оказалось, что исполнители РП имеют тенденцию "улучшать" масоретский текст, см. выше: (6), (8). Так, они, похоже, стремились к большей чистоте приема *parallelismus membrorum*, чем он представлен в оригинале.

Наконец, в-четвертых, исполнители РП включали в свой перевод и личностные интерпретации. Надо отдать должное: эрудированная экзегеза отличается большой продуманностью, см. выше: (9), (10), (12), (13). Это наблюдение также отнюдь не было запрограммировано. Между прочим, если бы исполнители держались Септуагинты, то личностные решения, вообще говоря, потребовались бы в весьма редких случаях.

Остается сказать, что данные выводы нами проверены (по той самой процедуре, которая была применена к паре *слово/слово*) на материале еще более полусотни лексических пар. Они подтверждают.

Естественно, симфонию к Псалтыри П.А. Гильтебрандта нам пришлось обрабатывать вручную. Насколько облегчился бы труд, если бы она наличествовала также на электронных носителях и ей можно было бы пользоваться точно так же, как "Библейским компьютерным справочником"!

В свое время великий лексикограф обратился к Обществу любителей древней письменности и искусства за финансовой помощью на печатание своих справочников, и Общество щедро откликнулось. К кому сейчас обратиться за средствами, чтобы славянская Библия и особенно симфония к ней были введены в компьютер и стали бы, по подобию русской Библии, доступны для научной работы в соответствии с современными мерками?

Надеемся в дальнейшем показать еще более богатые возможности использования Гильтебрандтовой симфонии к Новому Завету.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- БКС 1995 – Библейский компьютерный справочник. М., 1995.
Biblia 1904 – Biblia sírřčь knihy Svācěnnāgw Písānīā Větřhāg ſ Novāgw Zāvětā. М., 1904.
Библия 1968 – Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1968.
Верецагин Е.М. 1994 – Об удержании Кирилло-Методиевской традиции в (ново)русском переводе Евангелия // Переводы Библии и их значение в развитии духовной культуры славян. Материалы международной библейской конференции 1990 года, посвященной 75-летию Русской Библейской комиссии. СПб., 1994.
Верецагин Е.М. (в печати) – Конфессиональная версия Свщ. Писания? Принципиальный документ Папской Библейской комиссии в свете переводов Библии на русский язык, исполняемых православными богословами (в печати).
Волперский В.П. 1986 – Словари XVIII века. М., 1986.
Гильтебрандт П.А. 1882–1885 – Справочный и объяснительный Словарь к Новому Завету. Кн. 1–6. СПб., 1882–1885 (переиздано: München, 1988–1989).
Гильтебрандт П.А. 1898 – Справочный и объяснительный Словарь к Псалтыри. СПб., 1898 (переиздано: München, 1993).

ным переводом О.Н. Штейнберга (1830–1908) [Штейнберг б.г.], сделанного столь же строго по масоретскому тексту. Оба переводчика – люди высокоученые и чрезвычайно добросовестные. Текст синодальной РП, с точки зрения смысла, в целом ближе к версии Штейнберга.

³⁰ Достоинства Септуагинты на фоне масоретского текста подчеркнуты самим митр. Филаретом [Филарет 1845: 375 и сл.]. Его доводы ничуть не устарели. Напротив, в наше время они могут быть только усилены.

- Дьяченко Г. 1898 – Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений) / Сост. священник магистр Григорий Дьяченко (переиздано: М., 1993).
- Евсеев И.Е. 1916 – Столетняя годовщина русского перевода Библии. Пг., 1916.
- Иринеи 1903 – Архиеп. Иринеи. Толкование на Псалтырь по тексту еврейскому и греческому. Тт. I–II. М., 1903.
- Карташев А.В. 1947 – Ветхозаветная библейская критика. Актовая речь. Париж, 1947.
- Кайперт Г. 1991 – Крещение Руси и история русского литературного языка // ВЯ. 1991. № 5.
- Макарий 1994 – Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Кн. I. М., 1994.
- Симфония 1900 – Симфония на Ветхий и Новый Завет. Ч. I. А–0. Ч. II. П–Я. СПб., 1900 (переиздано: СПб., 1994).
- Симфония 1925 – Симфония, или Алфавитный указатель, к Священному Писанию. Изд. I. [Вернигероде, 1925.]
- Симфония 1988–1995 – Симфония, или Словарь-указатель, к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета / Под ред. митр. Волоколамского и Юрьевского Питирима. Т. I. А–Г. М., 1988. Т. II. М., 1995.
- Симфония 1995 – Симфония к синодальному изданию Библии. Корнталь, Стокгольм, 1995.
- Филарет 1845 – О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного Писания. 1845 // Филарета, митрополита Московского и Коломенского, Творения. М., 1994.
- Чистович И.А. 1899 – История перевода Библии на русский язык. 2 изд. СПб., 1899.
- Штейнберг О.Н. б.г. ספר תהלים / С дословным русским переводом О.Н. Штейнберга. Вильна, б.г.
- Юнгеров П. 1915 – Псалтырь в русском переводе с греческого текста LXX, с введением и примечаниями. Казань, 1915 (переиздано: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1996).
- Biblia Hebraica 1983 – תורה ובראשית ובראשית ובראשית. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1983.
- Biblia Sacra 1965 – Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam. Matriti, 1965.
- Bryner E. 1982 – Neuere russische Bibelübersetzungen // Unser ganzes Leben Christus unserm Gott überantworten. (Festschrift Fairy v. Lilienfeld) Göttingen, 1982.
- Concordance 1897 – A concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books) by... E. Hatch .. and H. A. Redpath V. I. A–I. V. II. K–Ω. Oxford, 1897 (переиздано: Афины, 1993).
- BP 1992 – Das Buch der Preisungen // Die Schriftwerke. Verdeutsch von Martin Buber. Stuttgart, 1992.
- Fontes 1960 – Constantinus et Methodius Thessalonicenses Fontes. Recensuerunt et illustraverunt F. Grivec et F. Tomšič // Radovi Staroslavenskog Instituta, kn. 4. Zagreb, 1960.
- Keipert H. 1988 – Zur Geschichte der kirchenslavischen Bibelkonkordanzen // Гильтебрандт П.А. Справочный и объяснительный Словарь к Новому Завету. Кнн. I – 6. СПб., 1882–1885 (переиздано: München, 1988–1989).
- Keipert H. 1993 – Einleitung // Гильтебрандт П.А. Справочный и объяснительный Словарь к Псалтири. СПб., 1898 (переиздано: München, 1993).
- Mareš F.V. 1988 – Die neukirchenslavische Sprache des russischen Typus und ihr Schriftsystem // Гильтебрандт П.А. Справочный и объяснительный Словарь к Новому Завету. Кнн. I – 6. СПб., 1882–1885. (переиздано: München, 1988–1989).
- OD 1974 – The Oxford Dictionary of the Christian Church / Ed. by F.L. Cross and E.A. Livingstone. London, 1974.
- Septuaginta 1971 – Septuaginta Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes / Ed. A. Rahlfs. V. II. Stuttgart, 1971.
- TH 1984 – Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Zwei Bände. Hrsg. von E. Jenni unter Mitarbeit von C. Westermann. München; Zürich, 1984.

© 1998 г. А.А. ПЛЕТНЕВА

ДИСКУССИИ О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ В КОНЦЕ XIX в. ПОЗИЦИЯ АРХАИЗАТОРОВ*

Настоящая статья посвящена одному из вопросов истории церковнославянского языка нового периода. Еще до недавнего времени эти вопросы не привлекали достаточного внимания исследователей. Такое положение дел, на наш взгляд, объяснялось следующими двумя причинами. С одной стороны, история церковнославянского языка являлась объектом филологических исследований лишь на том временном промежутке, когда он функционировал и как язык богослужения, и как литературный язык (т.е. до XVIII в.). К XVIII в. церковнославянский утратил функцию литературного языка, и потому дальнейшая его история находилась на периферии интересов современной филологии. С другой стороны, общераспространенным являлось мнение, что история церковнославянского языка как таковая в XVIII в. с изданием Елизаветинской Библии заканчивается, никаких изменений в богослужебных книгах в последние два века не наблюдается и следовательно, отсутствует сам предмет изучения.

Как показали исследования последних лет [Кравецкий 1994; Кравецкий, Плетнева 1996; Кравецкий 1996; Плетнева 1994; Naumov 1992; 1996], церковнославянский язык на протяжении XVIII–XX вв. имел свою историю: в это время создавались новые тексты, производилось исправление богослужебных книг, вопросы языка обсуждались в периодической печати и на Поместном Соборе 1917–1918 гг.

В конце XIX – нач. XX в. в церковных кругах большое внимание уделялось дискуссиям о церковнославянском языке. В центре этих дискуссий стоял вопрос понятности текстов для прихожан православных храмов. Многие придерживались того мнения, что эти тексты непонятны без комментариев или толкований, что богослужебные книги никоновской редакции далеко несовершенны и содержат большое количество неточностей и неверных переводов. Предлагались различные варианты выхода из сложившейся ситуации: новое исправление богослужебных книг, новый перевод с греческого языка на славянский, издание текстов с комментариями, параллельным русским или греческим текстом. Периодически предпринимались попытки исправления и упрощения текста богослужебных книг. В результате этих работ, носящих часто экспериментальный характер, церковнославянский, сохраняя свои морфологические особенности, на уровне лексики и синтаксиса был в значительной степени приближен к русскому языку, а богослужебные тексты соответственно отдалялись от греческого оригинала [Плетнева 1994: 110–115].

Мнение о необходимости упрощения церковнославянского языка наиболее последовательно отразилось в опубликованных в 1906 г. "Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе" (СПб, Т. 1–3). В 1905 г. в ожидании Поместного Собора епархиальным архиереям были разосланы анкеты с вопросами о перспективах развития церковной жизни. В анкетах не было специальных вопросов о языке богослужения, однако многие иерархи (приблизительно третья часть от всех отвечавших) считали нужным высказаться по этому поводу. Признавая культурную и духовную ценность церковнославянского языка, они писали о необходимости сделать его более понятным для народа, исправить грецизированный синтаксис и те слова, которые носителю русского языка непонятны без словаря. Однако мнение сторонников обнов-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 97–04–06–305.

ления церковнославянского языка и прояснения текстов не было единственным. Существовала и другая позиция – назовем ее условно архаизаторской – рассмотреть которую и является целью настоящей статьи.

Архаизаторские (охранительные) тенденции в церковной жизни конца XIX в. ассоциируются с именем обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. Неудивительно, что он являлся адресатом архаизаторских проектов, касающихся церковнославянского языка. Рассмотрим некоторые из этих проектов.

В 1891 году справщик Московской Синодальной типографии М.В. Никольский направил рапорт на имя обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. Рапорт был посвящен вопросу внесения в Типикон и Минею празднований русским святым, которые были исключены из церковного устава при никоновской справе. Рапорт М.В. Никольского¹ заставил Синод в очередной раз начать дело об исправлении Типикона. Практических результатов эта работа не имела, однако высказанные в ходе обсуждения взгляды на церковнославянский язык представляют для нас несомненный интерес. Кроме того, эта дискуссия оказала некоторое влияние и на работу Собора 1917–1918 гг.: в 1917 г. архивное дело, содержащее рапорт М.В. Никольского, было передано в отдел Собора, который, среди прочего, занимался вопросами литургического языка и Типикона.

В рапорте М.В. Никольского три страницы посвящены его языковой программе, в которой достаточно последовательно прослеживается негативное отношение к тому варианту церковнославянского языка, который получился в результате никоновской и иоакимовской книжной справы. Он считает, что "стремление исправителей заменять вполне понятные для всех старославянские формы новыми, слова и фразы, ясные и понятные, другими менее ясными, повело к изменениям, которые в нынешнее время затрудняют научное изучение грамматики церковного языка". [№ 289: л. 7]. Церковнославянский, по мнению М.В. Никольского, является как бы искаженным вариантом старославянского языка, на грамматику которого следует ориентироваться как при преподавании, так и при издании богослужебных книг. В особенности негативными, с его точки зрения, были изменения, внесенные в церковные книги в результате исправлений в конце XVII в. "Наш церковнославянский язык есть объект школьного преподавания, которое должно пойти гораздо успешнее, если нынешний церковный язык будет представлять в большей полноте и чистоте материал для грамматического построения. Для этого вовсе ненужно вводить вновь уже несуществующие в нынешнем языке формы, а достаточно восстановить правильность и последовательность в употреблении некоторых из очень важных грамматических форм в той степени, как это было до изданий 1682 и 1690 года"². [№ 289: л. 7] Безусловно, что в этой связи важным является возвращение к дониконовской орфографии, "так как эта орфография в большинстве случаев была не условная, а чисто фонетическая". [№ 289: л. 8] Ведь именно в ходе никоновской и иоакимовской справ орфография церковнославянского языка была очень сильно изменена (было установлено строгое распределение дублетных букв и надстрочных знаков, последовательно введен знак каморы для омофоничных грамматических форм, а правописание имен собственных стало строго подчиняться правилам греческой орфографии).

М.В. Никольский предлагает следующую программу исправления богослужебных книг:

- 1) восстановить имперфект, который при справе во многих случаях был заменен перфектом;
- 2) восстановить замененный перфектом аорист ("эта замена является одной из самых характеристических и важнейших нововведенных исправлений" [№ 289: л. 8]);

¹ ГАРФ, ф. 3431, оп. 1 № 289.

² Имеется в виду изданный в 1682 г. при патриархе Иоакиме исправленный Устав и согласованные с ним Минеи, выпущенные в 1689–1691 гг.

3) разделить употребление краткой и полной формы прилагательных и причастий³;
4) восстановить форму двойственного числа там, где она заменена формой множественного числа (рѣкъ твоюю вм. рѣкъ твонухъ, стажаста твою родителю вм. стажаста твон родителю);

5) восстановить буквы ѣ и ъ в середине слов (богатѣство вм. богатство, забывѣше вм. забывше);

6) ввести ѡ вместо а после шипящих (дѡшамъ вм. дѡшамъ, стажа вм. стажа);

7) восстановить правописание букв ꙗ и ѡ в соответствии с этимологией как в окончаниях – благоꙗ вм. благоа, так и в корне – свѣтоꙗвленно вм. свѣтоавленно, оꙗснилъ вм. оꙗснилъ, ꙗти вм. ꙗти, ꙗзыкъ вм. ꙗзыкъ. [Отметим, что в синодальном церковнославянском языке слово *язык* имеет разное написание в зависимости от значения: ꙗзыкъ – народ, племя; ꙗзыкъ – 1) часть тела, 2) дар слова.];

8) устранить синтаксические и лексические грецизмы, появившиеся в процессе книжной sprawy: изъ несѡцихъ во еже быти приведый (в изд. 1640 г. – отъ небытѣа въ бытѣе приведый), зданіе (созданіе), демони (вѣси), догматы (оꙗченіе), ꙗерархъ (святитель), монахъ (инокъ)⁴.

Таким образом, мы видим, что М.В. Никольский, старший справщик Московской синодальной типографии (т.е. человек, от которого в значительной степени зависел облик книг, издаваемых этой типографией), достаточно критично относился к книжной справе XVII в., предпочитая язык дониконовских изданий языку современных богослужебных книг.

Весьма любопытной представляется позиция другого корреспондента К.П. Победоносцева – Н.И. Ильминского. В его письмах постоянно присутствуют две казалось бы несовместимые темы: защита идеи перевода богослужения на инородческие языки сочетается с резко отрицательным отношением к русификации церковнославянского языка.

Н.И. Ильминский (1822–1891) ориенталист, педагог и миссионер, работал преподавателем арабского, турецкого и татарского языков в Казанской духовной академии. С миссионерскими целями Н.И. Ильминский разработал собственную систему образования инородческого населения Российской империи. Инородцами законы Российской империи называли некоторые племена, преимущественно монгольские, тюркские и финские, которые вследствие самобытного уклада их жизни были поставлены в особое административно-юридическое положение (не несли воинской повинности, не платили всех податей или платили только их часть и т.д.). В 1863 г. им была основана частная школа для крещеных татар. И в 60–70 гг. подобные школы для инородцев (татар, чувашей, марийцев, мордвы и др.), работающие по программе Н.И. Ильминского, открывались одна за другой. В результате местное население, прежде равнодушное к православию, стало активно посещать храмы и сознательно участвовать в церковной жизни. В 1873 г. открылась Казанская учительская семинария – учебное заведение, готовившее учителей для инородческих школ. Благодаря поддержке К.П. Победоносцева в 1883 г. Синод издает указ, согласно которому епархиальный архиерей вправе разрешать богослужение на местном языке, если в епархии имеются крещеные инородцы.

Удача миссионерского эксперимента Н.И. Ильминского связана со специальной подготовкой учителей из среды местных жителей и созданием и переводом на татарский язык (также как потом и на другие инородческие языки) учебной и христианской литературы. Это были буквари, молитвенники, рассказы из священной истории, перевод Евангелия, а также словари и грамматики. Если татарский и киргизский язык были

³ Из текста рапорта неясно, по какому принципу должно быть проведено это разделение.

⁴ Первые два примера взяты М.В. Никольским из первых листов сентябрьской миней, остальные, по его мнению, являются повсеместно распространенными.

хорошо известны Н.И. Ильминскому, то удмуртский (вотятский), мордовский, марийский (черемисский) он знал не настолько хорошо, чтобы самостоятельно переводить на них христианские тексты. Любопытен метод, который был выработан Н.И. Ильминским для перевода на эти языки. Он работал вместе с одним или двумя носителями языка, знавшими русский. Вот как он описывает работу по переводу на вотяцкий (удмуртский) язык: "Итак начинаю: я диктую своему вотяку по-русски, словами простыми и определенными, предложениями краткими. Говорю одно предложение, он перелагает его на свой родной язык – я пишу. Я говорю по-русски другое предложение, он говорит по-вотяцки – я пишу, и так далее. (...) Написавши таким образом несколько строк, некоторую довольно цельную часть повествования, я снова, в связи уже, перечитываю своему сотруднику. (...) Сначала я настаиваю на ясности, на понятности; потом добиваюсь того, чтобы наше изложение было складно: как сами инородцы складно рассказывают что-нибудь им известное, пусть будет так же складно, правильно по языку и наше писание" [Ильминский 1875: 13]. Язык миссионерских переводов Н.И. Ильминского был противопоставлен татарскому литературному языку и основывался на кириллической (а не на арабской) графике.

Защищая свою позицию, Н.И. Ильминский указывал на неудачу предшествующих переводов, которые были осуществлены в самом начале XIX в. Эти переводы не удовлетворяли Н.И. Ильминского, т.к. были ориентированы не на живой разговорный язык, а на книжный татарский язык, который тесно связан с мусульманской традицией и непонятен крещеным татарам. "А казанские татарские книги, – пишет он, – суть или подражания турецким или джагатайским, или чаще перепечатки турецких или джагатайских книг; в том и другом случае волею-неволею проглядывает и свой казанский тип. От этого так называемый книжный татарский язык представляет неустановившуюся и никакими границами не определенную смесь не только арабских и персидских слов и оборотов, но и смесь туземных татарских слов и грамматических форм с турецкими и джагатайскими. Это уже вошло в татарский вкус: такой неорганизованно смесью пишут и даже нередко говорят люди ученые, а за ними мало-мальски грамотные магометане, но все-таки большинству народа она далеко не вполне понятна" [Ильминский 1875 : 30].

Для Н.И. Ильминского книжный татарский язык – язык мусульманской культуры, и овладение им крещеными татарами может способствовать отпадению их в мусульманство. Таким образом, тип книжного языка оказывается тесно связан с конфессиональной ориентацией. Именно поэтому, по мнению Н.И. Ильминского, крайне неудачным для миссионерских целей был выбор арабской графики. Алфавит также непосредственно связан с религией. Он пишет, что в основе письменности католического мира и отделившегося от него протестантского лежит латинский алфавит, православные славяне пользуются греческим алфавитом, малоазийские греки говорят по-турецки, а их турецкая Библия написана греческими буквами, евреи же, на каком бы языке не говорили и писали, пользуются еврейскими буквами. Следовательно, "алфавит знаменует преимущественно религиозную связь народов" [Ильминский 1875 : 37] и переводы вероучительных текстов на языки народов Российской империи должны опираться на русскую графику.

Переводы Н.И. Ильминского являются типично миссионерским предприятием. Он осознает себя продолжателем трудов Кирилла и Мефодия и Стефана Пермского. Ориентация на их опыт ведет к воспроизведению (возможно бессознательному) ряда особенностей средневековой переводческой техники. А. Шоберг [Sjöberg 1990], анализируя причины лексической вариативности в кирилло-мефодиевских переводах, указывает на то, что славянские первоучители могли переводить с голоса, диктуя одному или нескольким ученикам, которые записывали текст в соответствии с собственным вкусом и языковыми представлениями. Не вдаваясь в анализ аргументов, отметим, что Н.И. Ильминский действовал так же, как, согласно реконструкции А. Шоберга, работали Солунские братья, и являлся живущим в XIX в. носителем средневековой переводческой идеологии.

Опыты миссионерских переводов безусловно повлияли на отношение Н.И. Ильминского к проблеме церковнославянского языка. Основным принципом таких переводов, по его мнению, является "ясность и складность". И кирилло-мефодиевский перевод воспринимается Н.И. Ильминским как образцовый, потому что он был создан с миссионерскими целями, и следовательно, прост и понятен. В его известной работе "Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия", кроме примеров, демонстрирующих преимущество дониконовской редакции церковнославянских текстов, есть весьма любопытные теоретические построения, отражающие его взгляды на церковнославянский язык [Ильминский 1882; 1886]⁵.

В письме к К.П. Победоносцеву (1883 г.) Н.И. Ильминский указывает на причины, побудившие его написать эту работу: «"Размышления" я написал по случайному, но очень возбудительному для меня обстоятельству. В июле 1881 года Преподобный Сергей ((Ляпидевский)), тогда архиепископ Казанский, сообщил мне под великим секретом, что учреждена под его председательством Комиссия по вопросу об исправлении церковно-богослужебных книг, которая начнет свои занятия с пересмотра Псалтири и Евангелия. Преподобный просил сообщить ему мои соображения.» [Савва VII: 92] Н.И. Ильминский не сразу откликнулся на эту просьбу. Лишь когда он узнал, что "комиссия направляет дело к поновлению церковных текстов", он прежде всего из полемических соображений, "метя в комиссию поновителей и искажителей церковных текстов" [Савва VII: 93] пишет свои "Размышления", печатает небольшим тиражом и отправляет К.П. Победоносцеву и архиеп. Сергию (Ляпидевскому). Н.И. Ильминский пишет, что архиеп. Сергей прислал ему письмо, в котором одобрил эту работу, сказав что "статья может охладить излишний жар ревнителей поновления церковного языка" [Савва VII: 94]. Таким образом, мы видим, что "Размышления" явились репликой в дискуссии о судьбах церковнославянского языка.

Взгляды Н.И. Ильминского на церковнославянский язык, изложенные в этой статье, сводятся к следующему:

– Церковнославянский – классический язык, следовательно он не может подвергаться изменениям. "...Должен быть только один церковнославянский – древний, а так называемый средний и новый славянские языки не имеют даже права на название" [Ильминский 1882: 81]. Темные места и откровенные ошибки, на которые обращают внимание книжные справщики, появились в результате порчи первоначального облика текстов. "Изменения мертвого языка ... могут состоять только в ошибках и искажениях, или произвольных изменениях разных рукописей. Это и будет история рукописей данного языка, а не самого языка" [Ильминский 1882: 80].

– Иностраный или классический язык можно выучить путем многократного повторения отдельных слов, выражений и грамматических форм. Точно так же отдельные формы и выражения церковнославянского языка становятся понятны в результате их частого повторения. "*Рече Господь учеником своим*, это для нас так же непосредственно понятно, как и русское выражение: *сказал Господь своим ученикам*. Всякие формы можно поддержать через постоянное повторение. (...) И наоборот, можно всякую форму языка забыть, стоит только вывести ее из употребления. Но раз забывши, уже трудно будет восстановить снова" [Ильминский 1882: 78].

– Любая русификация богослужебного текста – явление неестественное и неорганическое. "Мы уже видели, что русский язык получил особое направление и так далеко отошел от древнеславянского типа, что из соединения его с церковнославянским ничего не может выйти органического и стройного, а выйдет смесь, подобная тому, когда памятник древней архитектуры обезобразят новыми аляповатыми украшениями. Если нужно пояснить содержание и смысл священных или богослужебных

⁵ Книга вышла в двух изданиях в 1882 г. в Казани, и в 1886 г. в С.-Пб. Второе издание снабжено предисловием, приложением по материалам книжной справки и грамматическим очерком. В интересующей нас теоретической части расхождений нет.

книг, для этого может служить пособием перевод чисто русский, как у западных народов католического исповедания есть Евангелие на своем родном языке, а богослужение совершается непременно на языке латинском" [Ильминский 1882: 75]. Русификация богослужебного языка не устраивает Н.И. Ильминского не только с эстетической точки зрения. По его мнению, приближенный к русскому языку, церковнославянский перестанет быть общеславянским достоянием: русифицированный церковнославянский станет менее понятен болгарам, сербам и другим славянским народам. "Церковнославянский перевод не есть наш собственный труд и не наша исключительная собственность. Он принадлежит всем славянским племенам, не только православным, но и иных исповеданий. (...) Чем больше станем мы приспособлять и приближать текст к своему русскому языку, тем более затруднять будем понимание его для других славянских народов". [Ильминский 1882: 81].

Положительная программа Н.И. Ильминского заключается в постепенном возвращении к первоначальному, очищенному от позднейших наслоений облику богослужебных текстов. "...Следует оставивши церковно-богослужебные книги status quo, теперь же издать древнеславянский текст, по крайней мере, Псалтири и Евангелия, и затем постепенно издавать древнейший текст других священных и богослужебных книг, насколько сохранилось их в древних памятниках". [Ильминский 1882: 82]. Таким образом, восстановление богослужебных текстов в их древнейшем виде решает те же проблемы, что и книжная справа: проясняет смысл отдельных песнопений, избавляет церковнославянский язык от сложных грецизированных конструкций, устраняет явно ошибочные употребления отдельных слов и грамматических форм.

Как уже говорилось выше, идеализация Н.И. Ильминским древнейшего облика текста связана с его переводческой деятельностью. Считая "ясность и складность" основным требованием к миссионерскому переводу, он полагал, что церковнославянская книжность обретет эти качества через возвращение к кирилло-мефодиевскому облику текста.

В связи с поддерживаемыми К.П. Победоносцевым проектами следует упомянуть и педагогическую программу С.А. Рачинского, талантливого педагога-просветителя, создавшего новый тип сельской школы.

После окончания Московского университета С.А. Рачинский, изучавший естественные науки и ботанику, занимается научной работой в Берлине и Йене. Однако вскоре он прекращает научную деятельность и, переехав в свое имение на родине, основывает в с. Татево сельскую школу, где пытается реализовать свои педагогические идеи. Формально педагогическая система С.А. Рачинского может быть названа архаизаторской, так как начальное обучение родному языку основывается не на русских текстах, а на церковнославянских. По мнению С.А. Рачинского, в качестве учебного материала церковнославянский текст имеет перед русским ряд преимуществ. 1) Книжное произношение совпадает с правописанием. Требование "читай как написано" хорошо применимо к церковнославянскому языку (и неприменимо к русскому), что естественно облегчает процесс обучения. 2) Раздельное обучение чтению и письму также является удобным для ученика: нет необходимости сразу запоминать два варианта одной буквы – письменный и печатный. В результате изучение алфавита занимает немного времени, и дети почти сразу могут читать. 3) Речитативное церковное чтение оказывается хорошим способом борьбы с детским заиканием. 4) Церковнославянские книги российскому крестьянину легче найти, чем русские. [Рачинский 1991: 49–53]. Еще раз подчеркнем, что программа С.А. Рачинского не идеологична. Он опирается лишь на свои личные педагогические наблюдения.

Весьма любопытным в этой связи представляется его замечание о восприятии деревенскими детьми литературных текстов XIX в.: «Имею случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают. Что же делать, если вся наша поддельная народная литература претит им, и мы принуждены обращаться к литературе настоящей, неподдельной? Если при этом оказывается, что Некрасов и Островский им в горло не лезут, а

следят они с замиранием сердца за терзанием Брута, за гибелью Кориолана? Если мильтоновский сатана им понятнее Павла Ивановича Чичикова? ("Потерянного рая" я и не думал заводить, они сами притащили его в школу). Если "Записки охотника", этот перл гоголевского периода, по прозрачной красоте формы принадлежащий пушкинскому, оставляет их равнодушными, а "Ундина" Жуковского с первых стихов овладевает ими? Если им легче проникнуть с Гомером в греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников?» [Рачинский 1991: 48].

Идеи С.А. Рачинского были близки стремлению К.П. Победоносцева сделать народное образование делом церкви. Основная на практических наблюдениях ориентация на церковную культуру и церковнославянские тексты вполне соответствовала теоретическим построениям К.П. Победоносцева. Как известно, благодаря содействию обер-прокурора, педагогические идеи С.А. Рачинского были использованы при подготовке программ церковноприходских школ.

Рассмотренные архаизаторские языковые и педагогические программы кажутся существенными для характеристики функционирования церковнославянского языка в конце XIX в.⁶

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Живов В.М. 1996 – Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Ильминский Н.И. 1875 – О переводах православных христианских книг на иностранные языки. Казань, 1875.
- Ильминский Н.И. 1882 – Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. Казань, 1882.
- Ильминский Н.И. 1886 – Размышления о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. СПб., 1886.
- Кравецкий А.Г. 1994 – Проблема богослужебного языка на Соборе 1917–1918 годов и в последующие десятилетия // Журнал Московской Патриархии. 1994. № 2.
- Кравецкий А.Г. 1996 – Календарно-богослужебная комиссия (1957–1958) // Уч. зап. Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 2. М., 1996.
- Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. 1996 – Деятельность епископа Афанасия (Сахарова) по исправлению богослужебных книг. Славяноведение. 1996. № 1.
- Плетнева А.А. 1994 – Исправление богослужебных книг в начале XX века. (Материалы к учебнику церковнославянского языка) // Славяноведение. 1994. № 2.
- Рачинский С.А. 1991 – Сельская школа. М., 1991.
- Савва VII – Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни. Т. I–IX. Сергиев Посад. 1898–1911.
- Naumov A. 1992 – O powszeź literaturze cerkiewnosłowiańskiej // Studia porównawcze z literaturze słowiańskich. Prace Komisji Słowianoznawstwa. 49. 1992.
- Naumov A. 1996 – Wiara i historia. Kraków, 1996.
- Sjöberg A. 1990 – Старославянский перевод Евангелия на фоне бытующей в Европе IX в. теории перевода // Международная церковная научная конференция "Славянская Библия – ее история и вопросы изучения". Москва, 19–23 июня 1990 (отпечатано на множительном аппарате).

⁶ Вне рамок настоящей статьи оказывается проблема соотношения споров о судьбе церковнославянского языка и судьбе латыни в западноевропейском мире. Для дискуссий о языке в России XVIII в. ориентация на западноевропейскую модель была очевидной [Живов 1996]. Для середины XIX в. непосредственная связь с западноевропейскими дискуссиями не прослеживается. Для этого времени уместнее говорить о типологическом сходстве ситуации, а не о непосредственном влиянии.

© 1998 г. А.Н. СОБОЛЕВ

О ПРЕДИКАТИВНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ПРИЧАСТИЙ В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ

1. Введение.

1.1. Инвентарь причастных конструкций в русских диалектах.

В русских диалектах предикативное употребление форм причастий достаточно ярко отличается от современного литературноязыкового. При этом оно далеко не единообразно. В зависимости от 1) формы причастия, 2) грамматических признаков глагола, от которого оно образовано (переходность / непереходность и в меньшей степени вид), 3) выраженности или невыраженности субъекта действия и его формы, 4) выраженности или невыраженности объекта действия и его формы в русской диалектологии принято выделять следующие диалектные причастные конструкции, отсутствующие в литературном языке [РД 1965: 189–194; РД 1972: 216–231; Кузьмина, Немченко 1971: 137; РД 1990: 153–161]¹:

(1) Причастие на *-н, -т*, образованное от переходных глаголов преимущественно совершенного вида, в форме ед. числа ср. рода² +;

(1а) прямое дополнение в вин. или род. пад. (*У соседки овцу на план выпущено; У меня было теленка зарезано – так хранили в шайке; У самого наскладывано песен*);

(1б) подлежащее в им. пад. (*У лисицы унесено курочка*).

(2) Причастие на *-н, -т*, образованное от всех грамматических групп непереходных глаголов (как без частицы *-ся*, так и с частицей), несовершенного и совершенного вида в форме ед. числа ср. рода (*У нас много стоено; У пса убежено куда-то; У коты на печку забранось; Было записанось в школу-то у меня*).

Что касается способов выражения субъекта действия, то в конструкциях этого типа известны следующие: 1) им. пад. (*Я большая вода видено³; Девушка уехано; Я замзанось*); 2) предлог *у* + имя в род. пад. (*У меня прялку на пече положено; У меня поросенка закрыто; У Юрки в 5 часов встато; У них валянось на снегу*) – наиболее частотный способ; 3) предлог *от* + имя в род. пад. (*Ей адрес был дано от Ваны Гришкина*); 4) имя в твор. пад. (*Молоду женщину схвачено медведицей; Да уж бригадирами собранось*); 5) имя в дат. пад. (*Девять классов окончено парню*).

В отличие от конструкций (1) и (2) общерусскими и в том числе литературноязыковыми являются конструкции, в которых причастная форма *-н, -т* и подлежащее, выра-

¹ Помимо обобщающих диалектологических работ в настоящей статье были использованы также публикации по частным вопросам грамматики русских говоров, северных [Еремин 1922; Ягодинский 1941; Бувальцева 1958; Скуратова 1962; Доля 1963; Булатова 1975; Маркова 1987 и др.] и среднерусских [Копорский 1945; Гринкова 1948; Мальцев 1948; Новгородов 1959: 379; Дмитриева 1962; Иваницкая 1962; Петрова 1962 и др.].

По техническим причинам примеры приводятся без указания на источник.

² В части западных среднерусских говоров в форме ед. числа муж. рода.

³ О выражении прямого объекта формами на *-а*, совпадающими с им. пад. литературного языка (см., например [РД 1965: 180–181]).

женное именем в им. пад., координируют между собой, т.е. совпадают по признаку числа и рода. Наиболее часто субъект действия в этих конструкциях выражен предлогом у + род. пад. имени (*Юбки-то сношены у девок; Святые все замучены у людей*)⁴. Дialeктными, но с неопределенным ареалом распространения, являются согласованные конструкции, в которых субъект действия выражен формой им. пад. имени (*Дьякон был приехан; Сестра в войну выехана была к нам*), в том числе и при причастиях, образованных от возвратных глаголов на -ся (*Я-то замазанась; Вся оборванась была; А я очень в вас влюбленась!*). Личные и безличные конструкции с причастиями на -н, -т не различаются "с точки зрения выражаемого ими реального содержания" и могут рассматриваться как функциональные дублиеты [Кузьмина, Немченко 1971: 26, 59]; ср. [Филин 1948: 44].

(3) Причастие на -ши⁵, образованное от непереходных глаголов преимущественно совершенного вида (*Что посеяно – все засоши; Каши пригоревши*). При этом в причастии на -вши нейтрализуется противопоставление возвратных и невозвратных глаголов (*Фигус разрогативши*).

(4) Причастие на -ши, образованное от переходных глаголов преимущественно совершенного вида (*В дом зять взявши; Рассошки деревянные, на них насадивши лемехи* (описание сохи); *Избы были поставивши, крыты соломой*).

При выражении субъекта действия в этих конструкциях употребляется 1) им. пад. (*Я замазавши; Девушка уехавши; Я чашку помывши; Один цыган купивши дом; Через трои сутки родивши она сына*); 2) предлог у + род. пад. (*У моей-то дочки было приехавши; У них за коньми ушедши; У них пообедавши; Три золовки было, женивши у обеих; Жена хорошая у меня из Ленинграда взявши; У меня уж корова подоивши*); 3) твор. пад. (*Здесь волкам (и) много ходивши и много утащивши овец; Деревня наша была занявши немцем*) и 4) предлог от + род. пад. (*Им такое дело от начальников запретивши*). Относительно способов выражения объекта действия в рассмотренных конструкциях отметим лишь особо, что в материалах "нет ни одного примера типа у меня посуду вымывши" [Кузьмина, Немченко 1971: 137].

Предикативное употребление причастий на -ши в современном литературном русском языке (за исключением характерного для определенных стилей оборота *Он выпивши*) невозможно.

Согласно определению И.Б. Кузьминой, "типичное грамматическое значение кратких причастных форм с суффиксами -н-, -т- и с суффиксом -ши при предикативном их употреблении одно и то же – это значение состояния, вызванного предшествующим действием" [Кузьмина, Немченко 1971: 203]. Это значение в русской грамматической и диалектологической традиции часто называется перфектным. При этом уже С. Шафрановым в 1852 г. отмечалось сходство внутренней формы русского оборота *У меня в доме убрано* и западноевропейского посессивного перфекта; позже на него указывал А.А. Потебня [Маслов 1984: 237]. Причастные формы противопоставлены всем глагольным формам, обозначающим действие как процесс, *verbum finitum*. Их соотносительность по функции с формами прошедшего времени на -л позволяет рассматривать их как компоненты временной системы, как формы прошедшего времени; возможность же образовать формы будущего времени (*Отец будет приехавши*) и ирреальных наклонений (*Ступай домой и чтобы не была прищоччи!; Чтобы сейчас же*

⁴ Современный русский литературный язык знает в таких случаях две специальные формы обозначения субъекта действия: 1) твор. пад. [РГ 1980 I: 616; II 298] и 2) предлог у + род. пад. [РГ 1980 II: 298]; ср. о неизученности последней конструкции [Исаченко 1960: 373]. Третья форма – от + род. пад. – признается устаревшей [РГ 1980 II: 298].

⁵ Здесь мы имеем дело с "застывшей формой женского рода старого нечленного причастия на -ши [Трубинский 1983: 217]. Глагольные формы на -(в)ши рассматриваются в русском литературном языке как деепричастия, в диалектах же для выделения их как отдельного разряда не имеется достаточных оснований [Кузьмина, Немченко 1971: 4].

была свищи! Чтобы собака сейчас унесена!; Село было бы у своих сожжено) позволяет говорить об особой грамматической категории перфекта [Кузьмина, Немченко 1971: 203, 210–212, 219, 222]. Ю.С. Маслов обращал внимание, что в формах перфекта "мы видим причастия страдательного залога от непереходных (*послужено, полежано, посижено, побывано* и др.) и возвратных (*кланенось, выспанось, жененось*) глаголов, – причастия, очевидно неспособные к самостоятельному употреблению", что аналогично положению дел, например, в немецком языке [Маслов 1984: 238–239]. При этом приходится постоянно учитывать, что воздействие литературного языка и говоров, не знающих подобного предикативного употребления причастий, приводит к вытеснению этих форм формами прошедшего времени на *-л* и к затемнению системных отношений между ними [Филин 1948: 26].

1.2. Ареальная дистрибуция причастных конструкций.

Наиболее полно инвентарь, характеристика функционирования и географическое распределение как яркодиалектных, так и общерусских причастных конструкций описана в работах Ф.П. Филина, П.С. Кузнецова, М.И. Пигина, И.Б. Кузьминой, В.И. Трубинского и др. [Филин 1948; Пигин 1963; Кузьмина, Немченко 1971; Трубинский 1984]. В работах И.Б. Кузьминой на материалах, собиравшихся для Диалектологического атласа русского языка, дана характеристика функционирования всех причастных форм (предикативных, полупредикативных и непредикативных) в русских говорах и показана соотносительность говоров по этому кругу явлений. Были установлены три ареала, в которых собственно диалектные конструкции представлены в различных комбинациях [Кузьмина, Немченко 1971: 210, 143]:

I – "где конструкции с формами на *-ши* сосуществуют с различными конструкциями, включающими в себя формы, образованные при помощи суффиксов *-н-*, *-т-* от переходных глаголов (в том числе *хлеба принесено; у меня поставлено*) – говоры псковские, новгородские, ладого-тихвинские и часть онежских";

II – "где широко употребляются предикативные формы на *-ши* не только от переходных, но и от непереходных глаголов и где они свободно входят в конструкции разных типов – селигеро-торжковские говоры"; при этом здесь неупотребительны причастные формы на *-н-*, *-т-*;

III – "где регулярно употребляются формы на *-но-*, *-то* от разных глагольных основ, в том числе непереходных св. вида и возвратных, – часть говоров онежских, белозерских и лачских"; здесь, напротив, не отмечаются причастные формы на *-ши*.

Четвертый ареал представляет собой вся оставшаяся русская языковая территория, положение дел на которой в принципе совпадает с литературноязыковым состоянием.

2. Грамматический статус причастных конструкций.

2.1. Проблемы видо-временной характеристики.

Согласно определению Ю.С. Маслова, "перфектом можно назвать только такие глагольные формы (или предикативные сочетания), в семантике которых в той или иной мере совмещены два временных плана, предшествующий и последующий, причем между двумя ситуациями, относящимися к этим двум планам, имеется та или иная причинно-следственная связь" [Маслов 1983: 42]. Двуплановость перфекта позволяет различать случаи, когда упор сделан на последующий временной план (результатив), и случаи, когда упор сделан на предшествующий временной план (акциональный перфект). Во втором случае "в центре обычно оказывается некоторое действие в собственном смысле" [Маслов 1983: 43]. Между этими двумя временными планами существует и историческая связь: развитие категории перфекта, согласно концепции Ю.С. Маслова, идет от 1) "видовой формы, объединявшей идею состояния в настоящем и идею действия в прошлом, произведшего это состояние" (при этом перфект не мог быть образован от глаголов, которые обо-

значают действия, не оставляющие по себе никаких состояний) [Маслов 1984: 232]; к 2) форме, выражающей само действие в прошлом, оставляющее после себя какие-то следы (при этом перфект начинает образовываться от всех глаголов, в том числе и непереходных, как переходных, так и непереходных типа *иметь, любить, ненавидеть, желать, быть, сидеть, стоять, спать, жить, долженствовать*). Наконец, эта форма утрачивает логическую связь с настоящим временем и тем самым утрачивает специфику перфекта [Маслов 1984: 248].

В случае результата, как пишут В.П. Недялков и С.Е. Яхонтов, речь идет о "состоянии предмета, которое предполагает предшествующее действие". "По соответствиям между субъектом состояния и актантами предшествующего ему действия различаются два основных диатезных типа результата – субъектный и объектный. В случае субъектного результата субъект состояния (выраженный подлежащим при сказуемом со значением состояния) соответствует субъекту предшествующего действия, в случае объектного – его объекту". Возможен и двудиатезный результат, в котором подлежащее в равной мере может соответствовать как субъекту, так и объекту предшествующего действия [Недялков, Яхонтов 1983: 9].

Некоторыми славистами, например, А.В. Бондарко литературные русские аналитические причастно-страдательные формы типа *был рассмотрен – рассмотрен – будет рассмотрен* трактуются как формы пассивного перфекта (о перфекте типа *стол накрыт, письмо отослано* и т.п. как особой форме времени в русском языке писал еще А.А. Шахматов). С нулевой связкой «в зависимости от лексического значения глагола и от контекста доминирует либо элемент "состояние в настоящем как результат действия в прошлом" (*стол накрыт*), либо элемент "прошедшее действие с результатом, актуальным для настоящего": *письмо отослано*» [Бондарко 1990: 44–45]. В первом случае, таким образом, речь идет о результате, во втором – об акциональном перфекте. Формы с результативным значением при этом сопряжены со стативными конструкциями типа (*Окна в доме ярко освещены*), в которых причастия находятся на той или иной ступени перехода в краткие прилагательные [Буланин 1973: 37–48; Бондарко 1990: 45]; (см. также [Храковский 1991: 150–153]). Согласно наблюдениям Ю.П. Князева [Князев 1983: 149], в русском литературном языке представлены следующие виды результата (субъектный: *Он влюблен*, объектный: *Крыша покрашена*, двудиатезный: *Он одет*), а также акциональный перфект. При этом акциональный перфект формально совпадает с объектным результативом и пассивом. Обычно считается, что основным отличием пассива от результата является присутствие (или возможность введения) в первом случае обозначения производителя действия – агентивного дополнения в твор. пад. (ср. [Князев 1983: 159–160]; см. также [Храковский 1991: 150–153]⁶).

В русских диалектах субъектный результатив представлен двумя разновидностями [Трубинский 1983]. В качестве первой разновидности рассматриваются конструкции с причастиями на *-вши* (*Он ушелвши; Фикус разрогативши*) [РД 1965: 193]; (ср. [РД 1990: 160]). Вторая разновидность субъектного результата представлена в русских диалектах образованиями на *-но, -то* (*У него уехано было; Сижено было у меня; У сына жененось*), которые рассматриваются обычно как формы посессивного перфекта [РД 1972: 222].

Объектный результатив также представлен двумя разновидностями [Трубинский 1983]. Первую разновидность представляют формы причастия на *-вши* типа (*У меня надевши валенки; У пастушки грибы посоливши*) [РД 1965: 193]; (ср. [РД 1990: 160; Трубинский 1983: 217–218]). Вторая разновидность объектного результата выражается формой с причастием на *-н, -т*, согласующимся (*А мусор-то здесь у забора у ей*

⁶ Ср., однако, объектный результатив (не акциональный перфект) в примере *Возле скирды снег утопан зайцами* [Князев 1983: 160].

верно высыпан, а у ково ж) или несогласующимся (*У батьки у твоо сажено березку*) [Трубинский 1983: 221–222].

Отмечены и двудиатезные результаты. Они представлены лишь одной разновидностью – формами причастий на *-вши* (*Тогда эта плотина была уже разрушивши; Рожь-то, говорят, вся поломавши; Да вот все пеленки порвавши*). Ф.П. Филин отмечал возможность двойного соотношения этих форм: "Что здесь – *поломана* или *поломалась*, *взята* или *взялась*, *залито* или *залилось*?" [Филин 1948: 38]. По мнению авторов "Русской диалектологии" 1965, «предложение *Она выучивши* может означать и "Она выучилась" и "Она выучена" (а если допустить, что предложение может быть неполным, то возможно и третье толкование – "Она выучила")» [РД 1965: 193–194, сн. 21]. Согласно В.И. Трубинскому, конструкции типа *Колесо-то видить сломавши* соотносятся с непреходными глаголами (*сломаться*) [Трубинский 1983: 219–220].

Формальное совпадение результатива и акционального перфекта в русских диалектах устраняется введением в предложение "таких распространителей предиката или предикативной основы, которые в каком-либо отношении характеризуют предшествующее состоянию действие". Глагольность причастия активизируется 1) введением указания на субъект действия (ср.: *платье разорвано/разорвавши* и *платье разорвано девочкой*); 2) введением указания на объект действия (ср.: *она помывши* (помылась) и *она помывши посуду*). Напротив, значение качественного состояния активизируется при наличии в предложении обстоятельств, характеризующих это состояние (ср.: *она (нарядно) одета; он (сильно) выпивши; дети (совсем) разуты (разувши) были*) [Кузьмина 1975: 234]; об отличиях акционального пассива от статального см. в [Трубинский 1984: 77].

Несмотря на наличие длительной традиции в изучении русских диалектных предикативных причастных конструкций, несмотря на их обстоятельный анализ в обобщающих работах И.Б. Кузьминой и В.И. Трубинского, следует признать все еще актуальным замечание С.В. Бромлей и Л.Н. Булатовой, что их "собственно грамматическая квалификация в диалектных системах" является делом будущего [Бромлей, Булатова 1972: 127, 128]. Речь должна идти прежде всего о рассмотрении внутрисистемного статуса предикативных причастных конструкций как в системе русского языка в целом, так и в говорах каждого из выделенных И.Б. Кузьминой ареалов. Важно при этом обратить внимание на то, что большое число исследований предпочитает трактовать эти конструкции как сложные видо-временные формы перфекта (М.А. Колосов, Л.П. Размусен, М.Ф. Семенова, В.И. Трубинский, И.Б. Кузьмина) [Кузьмина 1975: 224–225], в то время как их характеристикам как залоговых образований явно уделяется недостаточно внимания. Следует отметить, что решение поставленного вопроса существенно осложняется отсутствием исчерпывающих монографических описаний глагольных систем отдельных говоров и недостаточностью имеющихся данных по говорам ряда территорий. Наконец, нельзя обойти стороной и вопрос об источниках предикативного употребления причастий, о соотношении внутренних (собственно славянских) и внешних (по всей видимости, финно-угорского) факторов в его развитии в истории русского языка и его диалектов (см. [Venkeer 1967; Маркова 1987]), что остается за рамками настоящей работы.

Примером изучения предикативного употребления причастий "изнутри" диалектной системы и определения их взаимоотношений с другими элементами (как диалектными, так и общерусскими) этой системы может служить исследование В.И. Трубинского, проведенное на материале говоров северо-запада РФ и рассматривавшее причастные формы как видо-временные и противопоставленные общерусскому прошедшему времени на *-л* [Трубинский 1984: 6]. Несмотря на тонкий лингвистический анализ, автору тем не менее не удалось решить, например, давно поставленный вопрос о взаимной дистрибуции причастных форм на *-вши* и *-н, -т* в тех говорах русского северо-запада, где они сосуществуют. В этих говорах перфект на *-н, -т* образуют глаголы как совершенного, так и несовершенного вида (*У меня с семи лет по нянькам-то пойдено, у*

попоф *ы дьякоф жыто*), как переходные, так и непереходные (возвратные и невозвратные). Перфект на *-вши* ограничен в основном непереходными глаголами совершенного вида. Таким образом, при образовании перфекта (субъектного результата) от непереходных глаголов совершенного вида наблюдается конкуренция двух форм [Трубинский 1969: 124–126]: *Он ушедши – у него уйдено*.

В русистике предлагались различные решения этого вопроса. Ф.П. Филин видел "различие между двумя перфектами... в том, что в одном из них выражена посессивность (это частный перфект), в другом – отсутствие посессивности" [Филин 1948: 42]. Но, как известно, посессивная конструкция *у + род. пад.* возможна с обеими перфектными формами, а причастия на *-н, -т* могут употребляться и с им. пад. подлежащего (*Девушка уехано*).

В.И. Трубинский пытался решить этот вопрос и методом лингвистической географии. Исследуя сосуществование перфекта на *-вши* и перфекта на *-н, -т* в говорах Карелии, он приходит к выводу, что в частных диалектных системах удельный вес каждой из причастных форм неодинаков и что кажущееся сосуществование на самом деле представляет собой ареальное распределение вариантов. По его мнению, не обнаруживается «сколь угодно широкой полосы говоров, где бы эти... "параллельные" формы занимали в системе времен более или менее равноценное положение и тем более делили бы между собой свои функции» [Трубинский 1969: 133]. "Там, где говорят *у него привыкнуто, у них пожененось*, не скажут, как правило, *он привыкши* или *они поживши*" [Трубинский 1984: 45]. Так, в Прионежском районе к югу от Петрозаводска преобладает перфект на *-вши*, а в говорах восточного берега Онежского озера (к югу от п. Челмужи) преобладает перфект на *-н, -т* [Трубинский 1969: 126–127, 129–130]. Тем не менее, сам В.И. Трубинский отмечает, что в Заонежье (между Медвежьегорском и Великой Губой) наблюдается высокая степень дублетности обоих перфектов (42 глагола образуют как одну, так и другую форму: *она вышетши – у нее выйдено*). Сходное положение дел отмечается и в восточной части Медвежьегорского района, где формы перфекта на *-вши* употребляются обычно при одушевленном подлежащем и тогда конкурируют с перфектом на *-н, -т* [Трубинский 1969: 128–129]. При этом В.И. Трубинский как в работе 1969 г., так и в монографии 1984 г. ограничивается констатацией, что ему не удалось вскрыть истинного внутрисистемного соотношения этих форм [Трубинский 1969: 127; 1984: 181].

Нетрудно заметить, что ареальное членение карельских говоров по признаку употребительности той или иной формы перфекта аналогично общерусскому, установленному примерно в то же время в работах И.Б. Кузьминой. Существенно, что детализация ареального анализа все равно приводит к выделению зон сосуществования обеих перфектных форм, что говорит об их внутрисистемной, а не ареальной противопоставленности.

Сосуществование двух конкурентных форм перфекта в северо-западных русских говорах пытались объяснить тем, что они имеют различную лексическую базу [Трубинский 1984: 41]. В.И. Трубинский [Трубинский 1962: 164, 178] считает установленным, например, что предикативные формы на *-вши* образуют непереходные глаголы совершенного вида, с общим значением 'осуществленного изменения' (например, в физическом или психическом состоянии одушевленного субъекта, в пространственном положении субъекта и др.), названные мутативными. При этом "мутативность не выходит в основном за рамки категории непереходности, которая обуславливает ее, обеспечивая направленность действия на его же производителя" [Трубинский 1962: 176]. Эта точка зрения, с одной стороны, не позволяет объяснить возможность образования форм перфекта на *-вши* от переходных глаголов и от глаголов несовершенного вида, что также отмечено в северо-западных говорах (см., например: *Она была гостивши, а теперь уехала; Подряд 10 лет была не выходивши замуж; Мой сын был учивши* [Кузьмина, Немченко 1971: 176]); с другой – она не объясняет возможно-

сти образования перфекта на *-н*, *-т* от мутативных глаголов, обозначающих изменение в пространственном положении субъекта, и тем более положения дел в Заонежских говорах, где самим В.И. Трубинским отмечена дублетность обеих причастных форм. Аналогичные возражения могут быть выдвинуты и против наблюдений И.Б. Кузьминой (несмотря на их отличие от результатов, полученных В.И. Трубинским), которая полагала, что "при сосуществовании форм на *-ши* и форм на *-но*, *-то*, образованных от непереходных глаголов (новгородские и псковские говоры), наблюдается тенденция по дифференциации их по кругу лексем – из словоформ с суффиксами *-н*-, *-т*- здесь употребляются по преимуществу такие, которые образованы от глаголов, называющих процесс, растянутый во времени, – глаголов несовершенного вида и глаголов с префиксом *по-* типа *побегано*, *побыто*, *поезжено*, *пожито*, *пороблено...* Формы же на *-ши* от данных групп глаголов образуются относительно редко" [Кузьмина 1975: 240].

Наконец, В.И. Трубинский отмечал, что "в отличие от перфекта с суффиксами *-т*-, *-н*-, обладающего довольно широкой гаммой оттенков временных значений (особенно в двусоставных конструкциях), образование на *-ши* в говорах псковских и новгородских характеризуется, как правило, непроцессуальностью, статальностью значений" [Трубинский 1983: 217–218; 1984: 160]. Второй же результатив ограничен такими глаголами, "которые способны выражать действие одушевленного предмета" [Трубинский 1983: 220, 225]. И все же конструкции с неодушевленным агенсом возможны в севернорусских говорах, хотя и чрезвычайно редки: *У цветов совсем засохнуто*; *У дождя быто* [Маркова 1987: 169].

Следует обратить внимание на то, что в диалектах отмечено прежде всего сосуществование двух разновидностей субъектных результатов, в то время как наличие в говоре объектного результата на *-н*, *-т*, по-видимому, в большей мере исключает возможность функционирования объектного результата на *-вши* в пределах той же частной диалектной системы. Это следует, например, из характеристики объектных результатов на *-вши* в псковско-новгородских говорах как явлений "редких" [Трубинский 1984: 164]; (ср. [Иваницкая 1962: 160]; противоположное мнение в [Петрова 1962: 184–185]) или как "отклонений от нормы" [РД 1990: 160; (ср. [Кузьмина, Немченко 1971: 170–172])]. Заслуживающим внимания представляется и тот факт, что в диалектологической литературе отмечается наличие лишь одной разновидности двудиагезного результата, а именно причастной формы на *-вши*. Вполне возможно, что и в русских диалектах можно обнаружить соответствие литературноязыковому двудиагезному результату на *-н*, *-т* типа *Он одет*.

2.2. Проблемы залоговой характеристики.

Представляется, что описание предикативного употребления причастий в видо-временной перспективе, которое принципиально не может быть исчерпывающим, во многом уже достигло своего предела. Для современного этапа исследований совершенно необходимым оказывается перенесение акцента в рассмотрении этих образований на их характеристику как собственно глагольных залоговых конструкций, чему в литературе, особенно на материале говоров русского северо-запада, явно уделялось недостаточно внимания (см., однако [Trost 1972]).

Иногда полагают (например [Петрова 1962]), что перфект на *-вши* и перфект на *-н*, *-т* противопоставлены как формы действительного и страдательного залога, причем в ряде говоров (например, псковских) грамматическое оформление категории залога более четко, нежели в литературном языке. Причастия на *-н*, *-т* "служат для выражения страдательного залога и обозначают направление действия от его реального производителя, выраженного родительным падежом с предлогом *у* или грамматически не выраженного, на реальный объект (грамматическое подлежащее). Действительные причастия, соотносительные со страдательными, обозначают, что действие (состоя-

ние) сосредоточено в субъекте или объекте действия (грамматическом подлежащем) и не выходит за его пределы". Это формы действительного залога [Петрова 1962: 190–191]. Данные наблюдения З.М. Петрова иллюстрирует следующими примерами: *Чугунок у меня вымата – Никакова мыла нату, будем вымыфишы; А в вас записан малако-та? – Ен ф школу записафишы.*

В ряде случаев определить разницу в значении двух залоговых форм нелегко (при наличии дублетных форм типа *глазы испорчен – адин глас уже спортифишы; двери были закрыта – дверь была закрыфишы* или при употреблении обеих форм в одном предложении – *Парники тоже были, у меня за двором стаит (рама), она развалифишы, развалена*), но и здесь следует видеть противопоставление страдательных оборотов действительным [Петрова 1962: 187–188].

По нашему мнению, автором были верно определены залоговые значения интересующих нас форм; некоторые возражения вызывает лишь отнесение форм на *-виши* к формам действительного залога (о возможности иного решения для говоров рассматриваемого типа см. ниже). Следует отметить, правда, что рассмотренные З.М. Петровой говоры отличаются двумя существенными особенностями функционирования причастий, наличие которых не осталось без последствий для восприятия залоговой системы этих говоров. Во-первых, те причастия на *-виши*, которые образуются от переходных глаголов, сами "всегда становятся непереходными" (*труба закрывиши, дом построивиши*) [Петрова 1962: 184–185]; во-вторых, в этих говорах невозможно образование причастий на *-н, -т* от непереходных глаголов, "обозначающих движение в пространстве, состояние, переход из одного состояния в другое, внешнее положение субъекта действия и т.п."; здесь употребляются лишь формы типа: *Дефки замуш вышефишы; Я рана сявонни встафишы; Атец забалефишы; Сичас ни паспефишы ише арехи-та* [Петрова 1962: 190]. Эти ограничения, как следует из предшествующего изложения, не действуют в других русских говорах. Но именно залоговая характеристика этих форм представляет наибольшие трудности, что отражено и в имеющихся работах по предикативному употреблению причастных форм: обычно "страдательные конструкции с действительными причастиями" (*Воды принесиши*) и "действительные конструкции со страдательными причастиями" (*У меня совсем не ученось*) рассматриваются как "залоговые нарушения" [Кузьмина, Немченко 1971: 214, сноска; Кузьмина 1975: 239]. По мнению авторов "Русской диалектологии" 1965, значение конструкций *У него уехано* "противоречит самому существованию страдательной конструкции" [РД 1965: 191], а В.И. Трубинский рассматривает эти обороты как квазипассив, считая, что они "полностью лишены пассивного значения" [Трубинский 1984: 140]. В другом месте у того же исследователя находим, что "данный оборот – всегда актив" [Трубинский 1984: 84].

Обычно исследователи довольствуются констатацией того, что генетическая противопоставленность причастных форм на *-виши* и *-н, -т* как форм залога (соответственно, действительного и страдательного) в современных говорах "в известной мере стерта", что та или иная форма может в конкретных говорах преодолевать свою залоговую ограниченность [Кузьмина, Немченко 1971: 214]. В очень редких случаях предпринимаются попытки вскрыть сущность залогового противопоставления конструкций типа (*Он привыкши* и *У волков здесь хожено*): этому вопросу посвящена статья Л.В. Булатовой 1975 г., написанная на материале говора с. Ладва (в 50 км к югу от Петрозаводска). Утверждая, что залоговая система причастных форм ладвинского говора "в корне отлична от системы литературного языка с его противопоставлением действительного и страдательного залога" [Булатова 1975: 198, 202], автор полагает, что причастие на *-н, -т* от непереходных глаголов (*Это у медведя брожено*) имеет значение "следов, свидетельствующих о совершившемся действии", а "это состояние не относится к субъекту" [Булатова 1975: 200]. При этом форма на *-н, -т* указывает лишь, что состояние "относится к среде действия", не называя

непосредственно носителя состояния. Залоговое значение этой формы состоит, таким образом, в указании, "что состояние не относится к субъекту действия", "что состояние, обозначенное причастием, вызвано действием, субъект которого не является носителем данного состояния" [Булатова 1975: 199, 201]. Отметим, во-первых, что определение Л.В. Булатовой явно противоречит общепринятому определению конструкций типа *У него залезено на елку; у меня выспанось-то теперь* как субъектного результата, в котором субъекты действия и состояния совпадают (см. выше), и частным случаем которого являются и приводимые автором примеры; во-вторых, указание на следы ранее совершавшегося действия есть частное значение видо-временной категории перфекта. Верные наблюдения Л.В. Булатовой касаются, таким образом, некоторых частных случаев функционирования причастных форм на *-н, -т* и не могут быть распространены на всю категорию посессивного перфекта.

Успешное решение задачи описания причастных конструкций как залоговых образований осложнено двумя факторами: 1) недостаточной изученностью данной категории в русских диалектах, отрывочностью и неполнотой имеющихся в литературе сведений о ней (ср. [РД 1972: 196]) и дословное повторение этого положения в [РД 1990: 138–139]; ср. и тот факт, что в капитальном исследовании по морфологии русских говоров [Бромлей, Булатова 1972] морфологическая категория залога вообще не рассматривается и 2) отсутствием единства в грамматических концепциях залога русского глагола, что существенно затрудняло единообразное описание этой категории в говорах.

Представленные в русистике концепции залога кардинально отличаются друг от друга уже по вопросам определения этой категории (существуют семантические, синтаксические и семантико-синтаксические дефиниции), а также количества форм залога в русском языке (от двух до четырех), не считая расхождений в трактовке более специальных вопросов (обзор точек зрения см. в [Храковский 1990а: 160]). До недавнего времени наиболее широко были распространены семантические концепции залога, как системы грамматических форм глагола, противопоставленных по признаку "разного представления одного и того же соотношения между семантическим субъектом, действием и семантическим объектом" [РГ 1980 I: 613]. В начале 70-х гг. А.А. Холодовичем и И.А. Мельчуком была выдвинута и в настоящее время в рамках Петербургской типологической школы развивается В.С. Храковским [Храковский 1974; 1981] универсальная теория залога, исторически связанная с концепциями Б. Гавранека и Л. Теньера. Б. Гавранек определял залог как "отношение глагольного действия к субъекту или вообще к конструкции предложения" [Havránek 1928: 14]. В основе петербургской теории лежит представление о семантико-синтаксической категории диатезы. Диатеза определяется как "соответствие между ролями глагольной лексемы (субъектом, объектом, адресатом и т.п.) и выражающими их членами предложения (подлежащим и дополнениями)" [Храковский 1990б]. В формулировке А.В. Бондарко "речь идет о той или иной характеристике действия в его отношении к субъекту и объекту, причем данная характеристика действия связана с соответствием семантического субъекта и семантического объекта тому или иному элементу синтаксической структуры предложения" [Бондарко 1991: 125–126]. Залог же в этой теории определяется как "грамматически маркированная в глаголе диатеза" (А.А. Холодович), т.е. как категория морфологическая. Он "выделяется тогда, когда в языке имеются глагольные лексемы, различные словоформы которых соотносятся с разными диатезами, т.е. с разными соответствиями между ролями лексемы и членами предложения, выражающими эти роли" [Храковский 1990а: 135; 1991: 143]; (ср., однако, с продолжением традиции сугубо семантической трактовки категории залога в [Перельмутер 1995]).

В настоящей работе мы обратимся к характеристике предикативных причастных конструкций и образующих их глагольных словоформ с позиции теории диатез, причем основное внимание будет уделено собственно морфологической стороне категории залога в русских диалектах, т.е. именно вопросу о маркировании диатезы в причаст-

ных формах и о количестве представляемых ими залоговых форм. Рассмотрены будут только собственно акциональные, глагольные конструкции, основной характеристикой которых признается наличие формально выраженного субъекта действия (см. выше); исключаются, в частности, формы двучленного пассива. Следует оговориться, что при установлении инвентаря мы исходим из положения о неупотребительности в русских диалектах форм причастий настоящего времени и личных глагольных форм на *-ся (-сь)* для выражения диатезы 2п (*Гениальное "все течет" произнеслось Гераклитом*), и диатезы 2н (**Здесь волками ходилось*)⁷ и из положения об употребительности личных глагольных форм для выражения диатезы 1п и 1н. О реально засвидетельствованных предикативных причастных конструкциях русских диалектов можно сказать следующее:

Переходные глаголы образуют три диатезы.

Диатеза 1п (субъект действия выражен подлежащим, объект действия выражен прямым дополнением) маркируется тремя формами:

- а) причастия на *-н, -т*: *Я большая вода видено*;
- б) причастия на *-вши*: *Я чашку помывши*;
- в) прошедшего времени на *-л*: *Я чашку помыл*.

Диатеза 2п (субъект действия выражен агентивным дополнением, объект действия выражен подлежащим) маркируется двумя формами:

- а) причастия на *-н, -т*: *У лисицы унесено курочка*;
- б) причастия на *-вши*: *Жена хорошая у меня из Ленинграда взявши*.

Диатеза 3п (субъект действия выражен агентивным дополнением, объект действия выражен прямым дополнением) маркируется одной формой причастия на *-н, -т*: *У соседки овцу на план выпущено*. Маркировки этой диатезы формой причастия на *-вши* типа **У меня чашку помывши* в русских диалектах не отмечено. Эта диатеза трактуется нами в дальнейшем как разновидность диатезы 2п и особо не выделяется.

Непереходные глаголы образуют две диатезы:

Диатеза 1н (субъект действия выражен подлежащим) маркируется тремя формами:

- а) причастия на *-н, -т*: *Девушка уехано*;
- б) причастия на *-вши*: *Девушка уехавши*;
- в) прошедшего времени на *-л*: *Девушка уехала*.

Диатеза 2н (субъект действия выражен агентивным дополнением) маркируется двумя формами:

- а) причастия на *-н, -т*: *Здесь у волков хожено*;
- б) причастия на *-вши*: *У них за коньми ушедши*.

Общерусское диалектное соотношение различных глагольных словоформ с различными диатезами (Табл. 1) свидетельствует об отсутствии диатезных специализаций у причастных форм.

Таблица 1

Форма	Русские диалекты в целом			
	Диатеза			
	1п	2п	1н	2н
на <i>-л</i>	+	-	+	-
на <i>-н, -т</i>	+	+	+	+
на <i>-вши</i>	+	+	+	+

⁷ В настоящей работе, собственно, вообще не затрагивается второй по важности вопрос теории русского залога: "определение принципов семантического и грамматического взаимодействия между глаголами невозвратными и возвратными" [Виноградов 1938: 494]. Отметим лишь, что ограничения, отражающие противопоставление возвратных и невозвратных глаголов в литературном языке, не действуют в диалектах (ср. [Бондарко 1991: 128]), так как в диалектах значения возвратности и взаимности могут быть выражены не только в активных конструкциях (ср.: *Ни с кем не руганось*). Кроме этого, возвратные глаголы могут быть в говорах переходными (*Слушайся маму; Испугалась тетю*).

В целом обо всех русских говорах можно сказать, что появление причастной формы в качестве маркера диатезы 1п автоматически влечет за собой выведение этой формы за рамки категории залога. Хотя такие системы в дальнейшем не рассматриваются, важно отметить, что на русском северо-западе не наблюдается четкого ареального противопоставления говоров, в которых форма причастия на *-вши* образует диатезу 1п (ср.: *Он эту сваяю жану чем только ня бифшы, чем только ня бифшы* [Новгородов 1959: 379; Мальцев 1948: 233], но отсутствие этих форм во Мстинском говоре [Гринкова 1948: 197]). До настоящего времени сохраняет актуальность положение Ф.П. Филина о том, что данная конструкция «расположена "пятнами" в говорах, имеющих отпричастный перфект» [Филин 1948: 39–40; Кузьмина 1993: 144].

В реальности нет ни одной частной диалектной системы, в которой бы был представлен весь общерусский инвентарь предикативных причастных конструкций. Мы всегда имеем дело с различными комбинациями форм, которые соответствуют разным залоговым системам отдельных говоров (или групп говоров). Этим определяется задача установления правил допустимых комбинаций этих конструкций в конкретных говорах. На настоящем этапе исследования можно лишь, опираясь на результаты опубликованных диалектологических описаний, достаточно предположительно говорить о возможных комбинациях единиц этого инвентаря в говорах, оставляя на будущее непосредственные полевые наблюдения над системами отдельных говоров.

В говорах центральной и восточной части европейской территории РФ, не знающих предикативного употребления причастия на *-вши*, личноглагольная форма на *-л* маркирует диатезы 1п и 1н, а форма причастия на *-н, -т* – диатезу 2п (Табл. 2).

Таблица 2

Центральные говоры

Форма	Диатеза			
	1п	2п	1н	2н
на <i>-л</i>	+	-	+	-
на <i>-н, -т</i>	-	+	-	-
на <i>-вши</i>	-	-	-	-

Конструкции, соответствующие диатезам 1п и 2п, считаются соответственно активной и пассивной [Храковский 1981: 7]. Основной характеристикой пассивной конструкции в теории диатез считается уход субъекта с синтаксической позиции подлежащего [Храковский 1974: 13, 15], что в рассматриваемых говорах сопровождается занятием позиции сказуемого особой формой глагола (причастием на *-н, -т*), которая может быть названа "пассивной" формой [Храковский 1974: 25]. Морфологическая противопоставленность актива и пассива переходных глаголов характеризует и говоры, которые будут рассматриваться ниже. Выраженность субъекта подлежащим и занятие позиции сказуемого в конструкциях, соответствующих диатезам 1п и 1н, одной и той же спрягаемой формой глагола на *-л* позволяет рассматривать конструкцию 1н также как активную. Активной следует признать и саму глагольную форму в конструкции 1н, несмотря на ее непереходность и независимость от ее возвратности или невозвратности [Исаченко 1960: 356, 357, сн. 1; Бондарко 1991: 137]. Противопоставление актива и пассива, выражаемое синтаксически и морфологически, в русистике считается подлинным грамматическим центром и историческим "зерном" категории залога [Виноградов 1938: 486; о категории залога в русском литературном языке см.: РГ 1980 I: 613–616; Храковский 1991].

Среди русских говоров особый интерес представляют, с одной стороны, онежские, лачские и белозерские говоры, не знающие причастий на *-вши* (Табл. 3а), с другой – селигеро-торжковские говоры, которым неизвестны причастия на *-н, -т* (Табл. 3б).

Онежские говоры

Форма	Диатеза			
	1п	2п	1н	2н
на -л	+	-	+	-
на -н, -т	-	+	+	+
на -вши	-	-	-	-

Селигерские говоры

Форма	Диатеза			
	1п	2п	1н	2н
на -л	+	-	+	-
на -н, -т	-	-	-	-
на -вши	-	+	+	+

В обеих системах представлены особые глагольные формы, специализированные для выражения сказуемого в классической активной (1п) и пассивной (2п) конструкции, что позволяет говорить о формах действительного и страдательного залога у переходных глаголов (в историческом плане любопытна специализация в качестве пассивной формы именно причастия на *-вши* в селигеро-торжковских говорах, что, однако, не оказывает влияния на саму залоговую систему, полностью идентичную онежской). О системе залогов непереходных глаголов можно сказать, что она несколько неожиданно для нас оказалась несимметричной системе залогов глаголов переходных. Ожидалось, что активная глагольная форма будет специализирована для выражения диатезы 1н, а пассивная – для выражения диатезы 2н, что позволило бы трактовать эти конструкции соответственно как активные и пассивные и говорить о четком залоговом противопоставлении у непереходных глагольных форм. Однако это можно сделать лишь касательно конструкции, выражающей диатезу 2н. Здесь сказуемое оформлено той же пассивной формой, что и в конструкции 2п; кроме этого, в ней наблюдается уход субъекта с позиции подлежащего, – все это вместе позволяет трактовать саму конструкцию 2н как пассивную. Мы не можем, таким образом, согласиться с приводившимся выше мнением части русских диалектологов об активном характере этого оборота. Возражения вызывает и квалификация сочетания *у + род. пад.* не как дополнения, а как "своеобразного аналога подлежащего" [Трубинский 1984: 84]: такой трактовке противоречит хотя бы его полная функциональная идентичность классическому русскому творительному субъекту (ср.: *Здесь волками хожено; Мной туды перейдено; Здесь за земляницей людьми хожено* [Ягодинский 1941: 100; Филин 1948: 45; Маркова 1987: 170]).

Важно также отметить, что в русских говорах не обнаруживается случаев маркирования диатезы 2н специальной формой глагола, что позволяет говорить об ее иерархической подчиненности диатезе 2п. Показательно, что нарушение симметрии в обеих группах говоров осуществлено одинаково – путем включения "пассивной" глагольной формы в синтаксически "активную" конструкцию⁸. Это позволяет говорить об отсутствии морфологической формы пассива непереходных глаголов в данных группах говоров, что неожиданно приводит к выводу о совпадении этой ситуации с положением дел в центральных русских говорах и в русском литературном языке и к еще более широкому обобщению о несвойственности морфологического противопоставления актив – пассив непереходных глаголов для основной русской языковой территории.

В некоторых псковских говорах (Табл. 4 [Петрова 1962]) для выражения сказуемого в конструкции, соответствующей диатезе 1н, наряду с общерусской личноглагольной формой на *-л* используется специальная форма причастия на *-вши*, употребление которой ограничено именно указанными рамками.

⁸ Такие образования отнюдь нельзя считать ocasionальными. В материалах по рассматриваемым онежским говорам примеры типа (*Девка приехано, выученось на зоотехника; Она тоже делать ничему не наученось, а также: Она уехана в отпуск; Сын был погибнут*) составляют 9% от всего числа примеров предикативного употребления причастий непереходных глаголов [Маркова 1987: 171].

Псковские говоры

Форма	Диатеза			
	1п	2п	1н	2н
на -л	+	-	+	-
на -н, -т	-	+	-	-
на -вши	-	-	+	-

Неупотребительность формы на *-вши* в качестве сказуемого в собственно активной конструкции 1п (что было бы параллельно функционированию формы на *-л*) не позволяет считать ее собственно активной и заставляет видеть в ней особую форму с р е д н е г о залога. Форма среднего залога обозначает замкнутость глагольного действия в сфере субъекта. Таким образом грамматикализуется категориальное значение непереходных глаголов как глаголов, обозначающих сосредоточенное на самом производителе действие, независимо от их возвратности или невозвратности (ср. [Исаченко 1960: 382]). Последнее подтверждается фактом нейтрализации в причастии на *-вши* противопоставления невозвратных и возвратных глаголов (напр. [Дмитриева 1962: 155]).

Говорить о наличии противопоставления разных залоговых форм непереходных глаголов и тем самым о формировании полноценной залоговой системы на этом участке грамматической структуры мы можем лишь в гипотетическом случае, отраженном в Табл. 5. В этой комбинации пассивная глагольная форма специализирована для употребления в пассивных же конструкциях, соответствующих диатезам 2п и 2н; наряду с ней отмечается и форма среднего залога, маркирующая только диатезу 1н. В этом случае отношения между залоговыми формами переходных и непереходных глаголов вполне симметричны: противопоставлению актива и пассива в первом случае соответствует противопоставление формы среднего залога и пассива во втором. При этом для обоих пассивных преобразований характерна часто отмечаемая в литературе необязательность. "Это значит, что в тех случаях, когда глагольные лексемы имеют как активную, так и пассивную диатезы, очевидно, чаще всего отсутствует база для формулирования правил, регламентирующих условия, при которых в тексте по сугубо интралингвистическим причинам вместо активной конструкции должна быть употреблена соотносительная пассивная конструкция" [Храковский 1981: 7]. Данный тип предположительно реализуется в карельских говорах Заонежья (ср. [Скуратова 1962; Трубинский 1969]) и, вероятно, в некоторых псковско-новгородских говорах, в которых сосуществование форм перфекта на *-н, -т* и на *-вши* от одних и тех же непереходных глаголов отражает именно их залоговую, а не какую-либо иную противопоставленность.

Таблица 5

Карельские говоры Заонежья (?)

Форма	Диатеза			
	1п	2п	1н	2н
на -л	+	-	+	-
на -н, -т	-	+	-	+
на -вши	-	-	+	-

Эти наблюдения позволяют также объяснить, почему диалектные системы допускают сосуществование двух разновидностей субъектных результатов (*Он ушелши* – *у него уйдено*), обычно выделяемых в литературе: они представляют разные диатезы, а в ряде говоров и разные залоговые формы одного глагола. Наоборот,

принадлежность обеих разновидностей объектного результата (*У меня надевши валенки – у батьки у твою сажено березку*) к одной диатезе исключает один из коррелятов из системы. Предполагается, что аналогичное взаимоисключение характеризует и другие пары: *Я большая вода видено – Я большую воду видевши; Я прийден – Я пришедши; У меня прийдено – У меня пришедши.*

3. Заключение.

В настоящей работе на основе имеющихся в литературе сведений были рассмотрены отмеченные в русских диалектах случаи предикативного употребления форм причастий на *-н, -т* и на *-вши*, дана их ареальная характеристика и определено место этих форм в грамматической системе русских говоров как компонентов видо-временной структуры (форм перфекта). Затем предложено их описание в рамках теории диатез как форм залога. Отмечено, что, взятые в совокупности как абстрактная диасистема всех частных диалектных систем, русские диалекты демонстрируют утрату причастными формами залоговых специализаций, что влечет за собой выход причастий за рамки категории залога. Рассмотрение же вопроса о маркированности особыми причастными формами отдельных диатез в частных диалектных системах приводит к ряду выводов о диалектных различиях в реализации категории залога. В части говоров (например, в ряде псковских) употребление причастных форм в конструкции, традиционно считающейся активной, устраняя противопоставление залоговых форм переходных глаголов, подрывает эту категорию в самом ее ядре. Для большинства же говоров характерно, с одной стороны, четкое противопоставление активных и пассивных форм переходных глаголов, с другой – отсутствие аналогичных формальных залоговых оппозиций у глаголов непереходных. В центральных говорах (вообще не знающих причастных форм от непереходных глаголов) это реализуется иначе, нежели в онежских и селигеро-торжковских (в которых вовлечение причастных форм в парадигму непереходных глаголов не ведет к формированию залоговых противопоставлений). О ряде северо-западных (например, псковских) говоров можно говорить, что в них наличествует морфологическая форма среднего залога, образующаяся от непереходных глаголов. Наконец, в небольшой части северо-западных русских говоров (например, заонежских, вероятно, ряде псковских) сформирована симметричная залоговая система, в которой как формам актива переходных глаголов, так и формам среднего залога глаголов непереходных противопоставлены соответствующие формы пассива.

По всей видимости, говоры не демонстрируют четких ареальных противопоставлений по данному признаку, хотя окончательное решение этого вопроса будет возможно лишь в результате последовательного описания залоговых систем большого числа русских диалектов*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко А.В. 1990 – Темпоральность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
- Бондарко А.В. 1991 – К определению понятия "залоговость". Активность / пассивность // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
- Бромлей С.В., Булатова Л.Н. 1972 – Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.
- Бувадьцева М.Н. 1958 – Из морфологических особенностей говоров Белозерского района Вологодской области // Уч. зап. Мичуринского гос. пед. ин-та. Вып. 5. 1958.
- Буланин Л.Л. 1973 – Пассив состояния в русском языке // Уч. зап. ЛГУ. № 375. 1973.

* Автор выражает благодарность чл.-корр. РАН А.В. Бондарко и А.Н. Мальчукову, которые ознакомились со статьей и сделали ряд замечаний, способствовавших ее улучшению. Настоящая статья легла в основу доклада, прочитанного 20 октября 1997 г. в Славяно-балтийском семинаре университета г. Мюнстера (ФРГ).

- Булатова Л.Н. 1975 – Перфектные формы в одном русском говоре Карельской АССР (к вопросу о грамматических значениях причастий в функции сказуемого в русских говорах) // Русские говоры. К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975.
- Виноградов В.В. 1938 – Современный русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1938.
- Гринкова Н.П. 1948 – Очерки по русской диалектологии. VII. Мстинский говор // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 69. Кафедра русского языка. Л., 1948.
- Дмитриева Л.К. 1962 – К вопросу о значении и генезисе отпричастных форм (на материале современных псковских говоров и псковских летописей) // Псковские говоры. I. Труды первой псковской диалектологической конференции 1960 года. Псков, 1962.
- Доля Т.Г. 1963 – Безличные предложения в говорах Заонежья Карельской АССР // Лингвистический сборник (Уч. зап. Петрозаводского ун-та. Т. XI. Вып. 7. Филологические науки). Петрозаводск, 1964.
- Еремин С.А. 1922 – Описание уломского и ваучского говоров Череповецкого уезда Новгородской губернии // Сборник ОРЯС. Т. ХСІХ. Вып. 5. Пг., 1922.
- Иваницкая Е.Н. 1962 – Некоторые синтаксические особенности северных говоров (по материалам говоров Дрегельского района Новгородской области) // Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. Статьи и исследования по русскому языку. М., 1962.
- Исаченко А.В. 1960 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Часть вторая. Братислава, 1960.
- Князев Ю.П. 1983 – Результатив, пассив и перфект в русском языке // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Копорский С.А. 1945 – Архаические говоры Осташковского района Калининской области // Уч. зап. Калининского ГПИ. Т. X. Вып. 3. Калинин, 1945.
- Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. 1971 – Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.
- Кузьмина И.Б. 1975 – О месте сочетаний типа *(есть) поставлен, был (будет) поставлен; (есть) вставши, был (будет) вставши* в грамматической системе современных русских говоров // ОЛЯ. Материалы и исследования. 1973. М., 1975.
- Кузьмина И.Б. 1993 – Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М., 1993.
- Мальцев М.Д. 1948 – О некоторых говорах Дновского и Порховского районов Псковской области // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 69. Кафедра русского языка. Л., 1948.
- Маркова Н.В. 1987 – К вопросу о конструкциях с причастными формами, образованными от основы непременных глаголов с помощью суффиксов *-н-, -т-* в онежских говорах // Русские диалекты. Лингвогеографический аспект. М., 1987.
- Маслов Ю.С. 1983 – Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Маслов Ю.С. 1984 – К вопросу о происхождении посессивного перфекта // Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Недьяков В.П., Яхонтов С.Е. 1983 – Типология результативных конструкций // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Новгородов М.А. 1959 – Образование и употребление деепричастий в старожильческом русском говоре Дагдского района Латвийской ССР // Материалы и исследования по русской диалектологии (МГПИ им. В.И. Ленина. Кафедра русского языка). Вып. 9. М., 1959.
- Перельмутер И.А. 1995 – Залог древнегреческого глагола: Теория, генезис, история // Историко-филологические монографии. Т. 1. СПб., 1995.
- Петрова З.М. 1962 – О синтаксических и морфологических особенностях причастий в псковских говорах // Вопросы современного и исторического синтаксиса русского языка (Уч. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 225). Л., 1962.
- Пигин М.И. 1963 – Сказуемое употребление деепричастий в говорах русского языка // Лингвистический сборник (Уч. зап. Петрозаводского ун-та. Т. XI. Вып. 7. Филологические науки). Петрозаводск, 1964.
- РГ 1980 I – Русская грамматика. Т. I. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. М., 1982.
- РГ 1980 II – Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
- РД 1965 – Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. М., 1965. (2-е изд.).
- РД 1972 – Русская диалектология / Под ред. Н.А. Мещерского. М., 1972.
- РД 1990 – Русская диалектология / Под ред. В.В. Колесова. М., 1990.
- Скуратова Н.И. 1962 – Некоторые особенности глагольной системы говоров Заонежья Карельской АССР // Уч. зап. Петрозаводского ун-та. Т. X. Вып. 3. Петрозаводск, 1962.
- Титовская В.В. 1976 – Возвратные глаголы и залого в диалектной речи жителей Воронежской области // Рязанский ГПИ. Диалектологический сборник. Рязань, 1976.
- Трубинский В.И. 1962 – О лексической базе предикативного деепричастия в псковских говорах // Псковские говоры. I. Труды первой псковской диалектологической конференции 1960 года. Псков, 1962.

- Трубинский В.И. 1969 – Об особенностях системы глагольных времен в русских говорах Карелии // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 366. Гуманитарные науки. Петрозаводск, 1969.
- Трубинский В.И. 1983 – Результатив, пассив и перфект в некоторых русских говорах // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
- Трубинский В.И. 1984 – Очерки русского диалектного синтаксиса. Л., 1984.
- Филин Ф.П. 1948 – Заметки о записях материалов по синтаксису // Бюллетень диалектологического сектора (Институт русского языка). Вып. 4. М.; Л., 1948.
- Храковский В.С. 1974 – Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., 1974.
- Храковский В.С. 1981 – Диатеза и референтность (К вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
- Храковский В.С. 1990а – Залог // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Храковский В.С. 1990б – Диатеза // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Храковский В.С. 1991 – Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
- Ягодинский А.С. 1941 – Народные говоры Вожегодского района Вологодской области // Диалектологический сборник / Под ред. А.С. Ягодинского. Вып. II. Ч. I. Вологда, 1941.
- Havránek V. 1928 – Genera verbi v slovanských jazycích. T. I. Praha, 1928; T. II. Praha, 1937.
- Trost K. 1972 – Zur Struktur passivischer Sätze im Russischen, namentlich in den nordgroßrussischen Dialekten // Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Bd. XVIII. Hft 1. Wiesbaden–Wien, 1972.

© 1998 г. А.К. МАТВЕЕВ

МЕРЯНСКАЯ ТОПОНИМИЯ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ – ФАНТОМ ИЛИ ФЕНОМЕН?

Предположение о том, что на юге Архангельской области в бассейне среднего течения реки Устья (СУ) сохранились реликты мерянской топонимии [Матвеев 1996], вызвало ряд критических замечаний А. Альквист [Альквист 1997]. Эта статья, основанная на новых материалах, продолжает разработку проблемы.

В статье А. Альквист большое внимание уделяется методам топонимических исследований в приложении к мерянской проблематике. В основном они идентичны принципам и приемам, принятым в современной топонимике. Есть, однако, несколько принципиальных вопросов, на которых следует остановиться.

А. Альквист считает, что первоначально нужно собрать весь топонимический материал вплоть до территорий Северо-Западной и Восточной России [Альквист 1997: 24], а также провести полное археологическое обследование [Там же: 26], и только потом делать обоснованные выводы [Там же: 22–27]. Разумеется, это было бы идеально. Но полный сбор топонимии на всех тех территориях, которые называет А. Альквист, потребует целого легиона собирателей и многих лет нелегкой работы. Трудно даже представить, когда ее можно будет завершить. Опыт полевых работ Севернорусской топонимической экспедиции Уральского университета (СТЭ) показал, что для составления формализованной картотеки только одного административного района (а лишь такие картотеки могут считаться достаточно полными и точными [Матвеев 1985] и, видимо, составление картотек такого рода и имеет в виду А. Альквист), требуется несколько экспедиционных сезонов. Поэтому задержка с обработкой и изучением собранного материала не пойдет на пользу топонимическим исследованиям. И дело здесь не только в том, что почти все собиратели стремятся быть и интерпретаторами, чтобы в результате своей работы видеть не набор загадочных топоформантов и топооснов, а стоящие за ними "понятные" слова и даже людей, которые их употребляли – родственников ныне живущих финнов и предков многих русских. Хотя и это очень важно. Научные исследования имеют обратную связь. Прагматический аспект проблемы состоит, например, в том, что интерпретация позволяет выделить наиболее важные для изучения территории и уделить им первоочередное внимание, чтобы спасти особенно ценный материал.

Трудно реализовать и сформулированное А. Альквист требование, что для "выявления разных слоев субстратной топонимии" необходима "бесшовная и систематическая совместимость языковедческих, а именно топонимических данных с археологическими" [Альквист 1997: 26]: топонимический материал может не сохраниться в такой степени, как археологический (изредка наоборот, если, например, есть точные карты, а местность затоплена), археологические и топонимические ареалы сплошь и рядом не совпадают и т.д.

Способы осуществления топонимического поиска многообразны и зависят от различных обстоятельств. Их не следует фетишизировать и тем более ставить перед собой непосильные задачи. Но автор полностью согласен с А. Альквист в том, что сбор топонимического материала должен быть сейчас на первом месте.

Другая проблема связана с пониманием роли и соотношения формантного и этимо-

логического методов изучения субстратной топонимии. Формантный метод – важнейший этап топонимического исследования, но его окончательный результат всегда зависит от этимологического анализа названий, если, конечно, он в принципе осуществим (подробности см. [Матвеев 1986: 15–22]). В данном случае, однако, в этой возможности сомневаться нельзя, поскольку общепризнано, что и мерянский язык и субстратная топонимия Русского Севера (РС) принадлежат финно-угорскому языковому континууму.

А. Альквист, анализируя мерянские и предположительно мерянские топонимы, почти все внимание уделяет именно результатам формантного анализа. Указывая, что топонимия так называемых исторических мерянских земель (ИМЗ) многослойна, и поэтому отделять собственно мерянские названия от мерянских только по употреблению очень трудно, А. Альквист подчеркивает, что даже если собственно мерянские топонимические типы удастся выделить (ойконимы на *-бал*, *-бол* и наименования озер на *-Vхра* признаются мерянскими, см. [Альквист 1997: 30]), то невозможно доказать, что мерянскими будут и аналогичные названия на РС. По этой причине нельзя считать, что языковые реликты СУ являются мерянскими, а поскольку ареал *-енгарь* "река", "речка" (СУ) можно трактовать только как мерянский или марийский [Матвеев 1996: 11], его следует считать марийским. Но выделение топоформантов мерянского типа было только начальным этапом нашей работы, который не доказывал, а указывал, что наличие в ИМЗ и на РС комплекса тождественных формантов может быть истолковано как признак существования мерянской топонимии на РС. Все остальные выводы основаны уже на этимологических приемах исследования.

Возражения А. Альквист, напротив, построены почти исключительно на анализе топоформантов и их географии, при этом часто используются единичные факты. Этимологии намного более многочисленных топооснов, которые относятся как к территории ИМЗ, так и СУ [Матвеев 1996: 13–14, 17–19], вообще не рассматриваются, хотя и указывается, что часть из них является спорной [Альквист 1997: 27]. Естественно, некоторые из предложенных этимологий со временем придется уточнить, от других – совсем отказаться, тем не менее именно этимологии основ создают наиболее надежную и доказательную базу при лингвоэтнической идентификации топонимического субстрата и в случае их достаточного количества и обоснованности могут дать ответы на поставленные вопросы. Напротив, абсолютизация формантного анализа дает ограниченные результаты и может привести к недоразумениям [Попов 1965: 101–122], и это особенно часто происходит при широких ареальных сравнениях.

Произвольность и неоднозначность выводов, к котором часто приводит формальный метод, давно побуждают искать контрдоводы. Во многом здесь способно помочь картографирование. Важно учитывать смежность территорий, на которых распространены аналогичные форманты или близкие в звуковом отношении их варианты. Продуктивна и такая процедура выявления топоформантов, как интерпретация соотношения больших и малых ареалов (макро- и микроареалов), понимаая под первыми общие ареалы близких топоформантов, например, *-бал(а)*, *-бол(а)*, *-нал(а)*, *-пол(а)* и т.п., а под вторыми – ареалы этих же топоформантов (или их группы) по отдельности, например, мерянских ойконимов на *-бал*, *-бол* и т.п. на территории ИМЗ. Проблема эта имеет самое непосредственное отношение к выявлению мерянских топоформантов.

Разумеется, учет возможно более широкого окружения, а следовательно, и распространения близких по типу, потенциально родственных топоформантов и топооснов необходим в начале любого исследования в области субстратной топонимии. Но выделение такого макроареала достаточно условно и является по существу методическим приемом, потому что составляющие его микроареалы могут иметь и разное происхождение. Это и было показано на примере формантов *-бал*, *-нал* и т.п. [Матвеев 1996: 6–7]. В дальнейшем интерпретация топоформантов должна основываться на изучении конкретных микроареалов и их сопоставлении, при этом уже не следует без каких-либо оснований оперировать фактами разных ареалов и тем более смешивать

их. Между тем А. Адьквист предлагает именно макрорегиональный подход для выявления ареалов топоформантов путем "сравнения огромного количества топонимов широкой территории обитания финно-угорских народов (в наше время и в древности)" [Адьквист 1997: 27], что, впрочем, противоречит ее же постулату: "Методом широкого сравнения топонимических компонентов (как субстратных, так и продуктивных) огромных пространств былого и современного расселения финно-угров и специфических особенностей их языков мы можем доказать, главным образом, финно-угорское начало топонимии субстратного происхождения Средней России" [Адьквист 1997: 25].

Ареальные сопоставления формантов без каких-либо региональных ограничений, когда макроареал выходит за рамки ИМЗ и РС (см. [Адьквист 1997: 30]), рискованны, и, если рассматривать возражения А. Адьквист с точки зрения формантно-ареального анализа по микрорегионам, окажется, что многие из них придется снять.

А. Адьквист не сомневается в "мерянчности" и ойконимом характере форманта *-бал*, *-бол* и т.п. [Адьквист 1997: 27] и в существовании близких формантов на РС, приводя вместе с тем еще более далекие (Петербург. губ.) названия *Шибалово*, *Кемповолово*, *Калбола*, *Кимбола*. Но насколько эти факты частотны для Северо-Запада, не относятся ли они к прибалтийско-финской топонимии на *-la*, можно ли вообще здесь говорить об ареале *-бал*, *-бол*? Даже если в этом случае мы имеем дело с продолжением ареала *-бал*, *-бол* и т.п. в северо-западном направлении, ничто не препятствует сопоставлению соответствующих мерянских названий ИМЗ с аналогичными наименованиями на смежных территориях РС, поскольку севернорусские названия могут рассматриваться как прямое продолжение мерянского ареала (см. карту).

Единичные факты на уровне формантов редко убеждают. Так, еще А.И. Попов подметил, что «есть в марийских местных названиях и кажущийся "суффикс" "-бал": Ширимбал, Инерымбал,... Куншумбал и другие в этом роде. Здесь этот "суффикс" не "-бал", а "-умбал", "-ымбал"» [Попов 1974: 25]. Однако эта модель марийских ойконимов (см. [В.В. Кузнецов 1982, 1985]) по фонетическим критериям вообще не устанавливается в основе мерянских (ИМЗ) или севернорусских названий на *-бал*, *-бол* и т.п. Тем не менее А. Адьквист не исключает, что нечто подобное марийскому *умбал* "верх", "поверхность" можно видеть в названии *Шурамбала* [Адьквист 1997: 28]. Но среднеустьянские названия *Кубало*, *Обало*, *Солобало*, *Сорбало* нельзя возводить к марийск. *умбал* (как и аналогичные названия на территории ИМЗ), тем более что для этого как минимум необходима ситуация смежности с однокоренным названием реки, озера или другого объекта. Однако налицо все-таки *Яхробол*, а не **Яхрумбал* (**Яхрымбал*) и *Сорбал(о)*, а не **Сорумбало* (**Сорымбало*). К тому же единственное в своем роде для РС название *Шурамбала* находится близ озера Лача за сотни километров от бассейна Устья и независимо от того марийское ли оно (*Шур-амбала*), мерянское (*Шурам-бала*) или еще какое-нибудь (а это вполне возможно), к среднеустьянскому региону никакого отношения не имеет и не способствует решению проблемы. Пример марийск. *Вончумбал* – русск. *Вонжеполь* [Галкин 1991: 44; Адьквист 1997: 28], конечно, интересен, но в нем легко узнается воздействие народной этимологии, а именно русской топонимической модели на *-поль* [Галкин 1991: 44], характерной как для собственно русской топонимии (*Чистое поле* > *Чистополь*), так и для адаптированных субстратных названий на РС (*Едополь*, *Каргополь*)¹. Народная этимология к русскому *поле*, распространение полукалек в названиях полей (ср. еще *Мечполе*, *Нукополе*; *Никополя*, *Шайполя*; *Карьеполье*, *Кузополье*) и упрощение консонантных групп на стыке основы и форманта совершенно затемняют картину. Поэтому при отсутствии марийской или другой языковой параллели невозможно решить, что скрыто в топоформанте – исконно русское слово *поле* (> *поль*) или переосмысленный

¹ В ряде случаев здесь нельзя исключать и прибалтийско-финский источник, ср. карел. *tagapuoli* "задняя сторона", вепс. *rändpol'* "место у берега".

субстратный географический термин. Следовательно, названия на *-поль*, независимо от их истинного происхождения и потенциальной генетической связи с группой формантов *-бал*, *-бол*, *-пал*, *-пол* и т.п., пока не следует причислять к последним, тем более что имеется такой формальный различитель как *л-л'* в ауслaute. Сказанное *mutatis mutandis* относится и к названиям *Кимбола*, *Кимбала* (см. [Альквист 1997: 28; Галкин 1991: 65]), которые независимо от своего происхождения также не могут пролить свет на генезис среднеустьянских топонимов на *-бал(о)*, поскольку среди тех нет образований с носовым перед формантом.

Изучение материала по микрорегионам, конечно, далеко не всегда приводит к определенному результату: сравнивая мерянские (ИМЗ) формы типа *Киболо*, *Пужболо*, с аналогичными *Кубало*, *Солобало* (СУ), нельзя решить вопрос о том, какой вид топоформант имел в языке-источнике, поскольку здесь очевидно воздействие русской морфологической адаптации, отраженное уже в ранних документах (река *Онега* – озеро *Онего*, река *Пинега* – город *Пинегъ* и т.п.). Только в данном случае адаптация происходит не к слову *озеро*, а к слову *село*, (*по*)селение. А. Альквист приводит варианты названия села *Деболовское* – *Дёбол*, *Дёбола* и *Дёболы* [Альквист 1997: 28]. На средней Устье деревня *Кубало* именовалась также *Кубал* и *Кубала*, а текущий близ нее ручей *Кубал* – *Кубала* и *Кубало*. Здесь налицо и русская фонетико-морфологическая адаптация и смешение форм.

А. Альквист, апеллируя к формам типа *Киболо*, *Пужболо*, считает недостоверным вывод о преобладании у мерянских названий консонантных окончаний [Альквист 1997: 28]. В подобной ситуации, которую создает русское освоение, ответ можно найти только в исторических источниках, указывающих как раз на преобладание консонантных окончаний, ср. в документах XV–XVI вв.: "что их села в Суздальском Шухобал..." [Акты... 1952: 225], "да луг на реке на Шекстне Шашпал" [Акты... 1952: 582] и т.п. Русская адаптация, однако, не всегда имеет императивный характер. Она зависит от множества факторов, в том числе не только фонетико-морфологических и хронологических, но и, например, от языковых традиций (моды) на данной территории. Тем не менее отряд СТЭ, работавший в районе Яхробольского озера, многократно зафиксировал названия селений *Шачебол* и *Яхробол* исключительно в этой форме.

При учете адаптации сопоставления по микрорегионам иногда позволяют избежать слишком смелых сравнений. Выделяя формант *-важ* или *-вож* "приток", можно вполне допустить мену *в-б-м-п* в интервокальный позиции и особенно на стыке морфем, однако в сильном анлаутном положении в русском языке обычна только замена звонких **v*, **w* на звонкие *в*, *б*. Субституция **v*, **w* > *п* в русском языке не наблюдается (ср. [Kalima 1919: 45–46; 1927: 11]). Поэтому единичные примеры вроде *Паиша* и *Козопаиша*² на территории Петербургской губернии или *Паиш*, *Паиша* в Перми (?) ничего не доказывают. Гидроним *Паиша* нельзя сопоставить с *-важ* еще и потому, что переход **ž* > *ш* в интервокальной позиции на русской почве трудно представить, предполагать же во всех этих случаях какое-то "оглушающее" посредство некоего промежуточного языка невозможно без очень солидной аргументации. Наконец, надо иметь в виду, что в марийском языке финно-угорское **w* устойчиво, а внутри слова *w* появляется на месте **p* [Грузов 1969: 148–150], и это к рассматриваемому случаю не имеет отношения.

Новые разыскания показали, что в самом сердце ИМЗ на территории Ярославской области речной термин *вож* "приток" в самостоятельном топонимическом употреблении

² *Козо* – вполне может быть редким, но все же встречающимся в субстратной топонимии случае препозитивного определения, ср. на РС *Шереньга* и *Вамшереньга* и особенно *Сима* – *Ильсима*, *Вама* – *Ильвама*, *Шонтас* – *Вылшонтасная* (речка), где топонимы с препозитивным *иль-*, *выл-* прилагаются к верховьям рек, что подтверждает их связь с финно-угорской основой, засвидетельствованной фин. *ylä-* "верхний", и коррелятивными с ним морд. *vel-*, марийск. *wäl-*, коми. *vjl* [SKES, 1859–1861; Матвеев 1974: 257]. Атрибутив *выл-* в названии *Вылшонтасная* (басс. Сухоны) точно соответствует марийск. *wäl-* и должен рассматриваться как мерянизм.

отмечен три раза в форме *Вожа* (по русской адаптации к *вода, река*) в названиях притоков Колокши, Ухры и Юхоти. Таким образом, этот географический термин не столь уж редок в мерянских землях, причем он точно отвечает всем звуковым нормам в отличие от территориально удаленных и фонетически аномальных *Паи* и *Паиша*.

А. Альквист предпочитает связывать мерянские названия на *-бож*, *-бажа* и т.п. не с территориально близким марийским *-важ*, *-вож* "корень", а с коми *вож* "приток". Но у этих слов одна исходная семантика – "ветвь" ("корень" тоже "ветвь", только подземная) > "разветвление", "развилка", затем "исток", "приток", причем и в марийской топонимии названия такого рода обычны, ср. *Аржеваж* "Источник Аржи", *Кожвож* "Еловый источник", *Шимваж* "Черный источник" и т.п. (см. [Галкин 1991: 35, 58, 134])³. Этимологи пока расходятся во мнении, родственны ли пермское и марийское слово или относятся к разным корням (подробности см. [Гордеев 1983: 12–15; Лыткин, Гуляев 1970: 60, 69–70]), но, благодаря общей семантике и обоюдному употреблению в топонимии, они равно могут быть связаны с мерянским словом. Его можно генетически объединить с любым из этих источников по отдельности и с обоими вместе, если они родственны, что, все же, наиболее вероятно.

Рассматривая мерянские топоформанты в соответствии с методикой выделения микрорегионов, нельзя не обратить внимание на характерное для А. Альквист стремление учитывать при решении мерянской проблемы прежде всего топонимию центральной (ярославской) мери. В этом отношении показательная попытка "сдвинуть" на ареальную периферию озерные названия с формантами *-V + хр*, *-V + хро*, которые отнесены к среднему и нижнему течению Оки и нижнему течению Клязьмы [Альквист 1997: 29]. Это не точно, поскольку такие названия есть по Клязьме и выше Владимира (*Исихра*, *Суехра*), а для бассейна Оки характерны наименования на *-рха*, *-рхи* и т.п., тяготеющие к мордовским и близким к ним источникам. На ярославской территории мерянское *яхр* "озеро" действительно встречается реже, что обусловлено физико-географическими условиями: здесь вообще мало озер, а наиболее значительные из них назывались другим словом (ср. *Неро*). Тем не менее и А. Альквист приводит ряд названий ярославских озер с элементом *яхр*, среди которых, однако, ошибочно фигурируют наименование покоса *Харило*, связанное с древнерусским ономастиконем (в документе 1571 г. упоминается подъячий Третьяк Иванов *Харилов* [Веселовский 1974: 337], и ойконим *Шугарь* (ср. марийск. *шўгар* "кладбище", "могила").

В то же время попытку А. Альквист показать, что на территории центральной мери функционировали в большом количестве названия озер на *-ер(о)*, *-ор(о)* [Альквист 1997: 29], трудно признать удачной. Наименование озера *Неро* к ним не относится [Матвеев 1978], предположение о том, что в названии реки *Которосль* содержится лимноним **Которо*, является трудно доказуемым конструктом, название *Сеяр*, извлеченное из документа 1562 г., может и не быть лимнонимом и в статье А. Альквист сопровождается знаком вопроса. Относить же к озерным названиям ойконимы *Кустерь*, *Инеры*, *Нажеровка*, *Чучеры* и т.п. в соответствии с географическим критерием, надежность которого особо подчеркивается [Альквист 1997: 26], можно только при условии, что рядом с населенными пунктами находятся (или находились) озера. А. Альквист не дает разъяснений на этот счет, а на доступных нам картах озера не показаны. А. Альквист не уточняет, какому этносу могли принадлежать предполагаемые лимнонимы на *-ер(о)*, *-ор(о)* (но ср. фин. *järvi* и марийск. *jer* "озеро"). В любом случае пока у нас нет серьезных оснований для вывода о том, что в диалекте центральной мери был топоформант *ер* "озеро"⁴, что объяснимо, если помнить об озерных названиях со словом *яхр*.

³ И.С. Галкин предпочитает переводить марийск. *важ*, *вож* на русский язык словом *источник* [Галкин 1991: 129–130].

⁴ Этот формант, может быть, содержится в топониме *Мстера*, на наш взгляд, прибалтийско-финском. Карельские и вепские названия озер в русском языке часто имеют детерминант *-ер(о)*, *-ор(о)*.

В конечном счете А. Альквист все-таки признает, что формант *-V + хрa* наряду с *-бал*, *-бол* и т.п., является типичным для ИМЗ, тогда как *-бож* (см. выше), *-ингирь* и *-курга*(а), *-курга* считаются редкими и нетипичными.

География форманта *-ингирь* обусловлена прежде всего особенностями функционирования мерянского языка, который, будучи распространенным на огромной территории современных Владимирской, Ивановской, Ярославской, частично Костромской и Московской областей (а по нашим предположениям и севернее), мог существовать только в диалектной форме (ср. [Попов 1974: 16]). Между тем, как уже было сказано, А. Альквист в своем анализе основывается почти исключительно на топонимии центральных мерянских земель – Ярославщины (районов озер Неро и Плещеево в первую очередь). Здесь действительно формант *-ингирь* пока не засвидетельствован, но во Владимирской и особенно Костромской областях он встречается достаточно часто (до 20 фиксаций). Если рассматривать распространение этого форманта с микро-региональной точки зрения, оказывается, что на северо-востоке и востоке ИМЗ он не так уж редок.

А.И. Попов, за которым следует А. Альквист (см. [Попов 1974: 24–27; Альквист 1997: 30–31]) считает формант *-ингирь* на территории ИМЗ поздним марийским наслоением. При единственной альтернативе (мерянский или марийский) и практически недифференцируемым характере мерянского *-ингирь* и марийского *энгер* дискуссия на эту тему кажется бесперспективной. Но все-таки заметим, что, во-первых, о скольконибудь значительном марийском населении в бассейнах Костромы и Унжи, то есть в западной части Костромского края (КК) четких сведений нет (они имеются о более восточных ветлужских мари), напротив, такие сведения есть о костромской мере, во-вторых, в западной части КК высокочастотна типичная мерянская топонимия (*Кужбал*, *Яхромша* и т.п.), но нет следов собственно марийской топонимии, в-третьих, зафиксированные в КК сложные названия с *-ингирь* находят соответствия в мерянском материале, ср. *Ухтынгирь* и *Ухтубуж* (КК). Отсюда следует, что связь названий на *-ингирь* (ИМЗ) и *-енгарь* (СУ) вполне возможна. Справедливость требует отметить, что и А. Альквист все же не исключает "возможное наличие данного географического термина, например, в северных и восточных диалектах мерянского языка" [Альквист 1997: 31].

Мерянские диалекты, видимо, разошлись достаточно далеко. Естественно, что ограниченный ареал содержит и меньше фактов. Лингвист должен сожалеть о том, что утрачено, но вынужден довольствоваться тем, что есть. Поэтому редкость и, следовательно, нетипичность⁵ формантов, на которые указывает А. Альквист, совсем не основание не учитывать их при сопоставлениях. И даже, напротив, иногда именно редкий формант, особенно при его своеобразии, позволяет установить закономерные ареальные связи. Таковы, например, костромские и среднеустьянские названия рек на *-курга*, которые не засвидетельствованы в других местах (вопреки [Альквист 1997: 32]). Чтобы отделить их друг от друга, А. Альквист была вынуждена прибегнуть к произвольному членению форманта *-курга* на элементы *кур* и *га* < речной суффикс *-Vga* [Альквист 1997: 29]. Между тем, наличие "речного суффикса" *-га* после твердого согласного очень проблематично, поскольку финно-угорское обозначение реки (фин. *joki*, коми *ju* и т.п.) имеет в анлауте *j*, который при освоении, как правило, смягчает предшествующий согласный и создает условия для ассимиляционных процессов.

Система доказательств в предшествующей статье [Матвеев 1996] была построена не только на анализе формантов, которые рассматривала А. Альквист, но и на сопоставлении и этимологизации основ, сведениях о переносе названий, а также некоторых наблюдениях из области исторической фонетики, свидетельствовавших об эволюции

⁵ Вообще-то редкость и нетипичность отнюдь не одно и то же: типичные форманты и основы в некоторых частях ареала могут быть и редкими.

древнего мерянского состояния (ИМЗ) по направлению к позднермерянскому (СУ), во многом общему с марийским. Таким образом, в основе построения находился целый комплекс соответствовавших друг другу фактов.

Отвергнув в основном результаты нашего анализа формантов и обойдя вопрос о марийско-мерянских этимологиях основ, А. Альквист скептически оценивает и перенесенную на СУ триаду топонимов *Ростово – Устья – Которосль*, указывая, что *Ростово*, *Устья* и даже *Которосль* – часто встречающиеся названия и поэтому не могут свидетельствовать о связи СУ с ИМЗ [Альквист 1997: 33–34]. Действительно, по отдельности *Ростово* и *Устья* фиксируются очень часто, но другие случаи их совместного употребления нам неизвестны, а очень редкий гидроним *Которосль*⁶ придает этой триаде еще большую доказательную силу⁷: СУ явно заселялась переселенцами из ИМЗ и прежде всего из ростовского региона, но это совсем не означает, что не было и других переселенческих потоков, в частности из костромских мест.

А. Альквист не признает и тот очевидный по фонетическим признакам факт, что топонимия СУ намного моложе (ориентировочно XIII–XVI вв.), чем топонимия ИМЗ (во всяком случае до X в.). Независимо от того, считать ли топонимию СУ позднермерянской, как полагает автор, или марийской, как А. Альквист, фонетическая эволюция могла происходить только в направлении **ki > *kü* (**kibal > *kübal*) и **jäxr > > jär, jër*, но не наоборот [Матвеев 1996: 13], а это означает, например, что форма *Кибол(о)* в ИМЗ древнее формы *Кубал(о)* на СУ.

Неизвестно, какие процессы произошли бы в мерянском языке ИМЗ, если бы он продолжал свое историческое развитие. Мы располагаем только его древними формами, окостеневшими и переработанными русским языком (**ki, *jäxr > ku, jxp*), а также эволюционировавшими формами на СУ. Но тогда какой смысл в рассуждениях А. Альквист о том, что "о марийско-подобной лабиализации ... топонимия бывшей мерянской территории не свидетельствует", и о том, как могли сохраниться формы *Кибол* и *Кибож* в ИМЗ, если предположить переход мерянского **i > *ü* [Альквист 1997: 32]?

Эта антикритика, надеемся, снимет ряд возражений А. Альквист, но она не усиливает аргументацию в целом. Напротив, новые материалы способны многое изменить и прояснить в интерпретации ранее опубликованных фактов, хотя одновременно порождают и сложные проблемы.

В предшествующей статье [Матвеев 1996] автор ограничивался рамками ареала *-енгарь* (СУ), полагая, что это обеспечит известную строгость ареального подхода, хотя уже знал, что на смежных территориях бассейнов Устья, Кокшеньги, Ваги также встречаются языковые факты, которые могут быть интерпретированы как мерянские. Были учтены и свидетельства других исследователей: фиксация А.И. Поповым в письменных источниках мерянского названия *Вёкса* в бассейне Вологды [Попов 1965: 89], наблюдения А.В. Кузнецова [А.В. Кузнецов 1991] и статья А. Альквист о загадочных Мирских⁸ и Синих камнях Ярославского края [Альквист 1995].

Уже А.И. Попов указывал, что *вёкса* "сток озера" (в гидронимии *Вёкса*) – мерянский индикатор [Попов 1965: 89–90]. С ним солидаризируется и А. Альквист, считающая этот географический термин одним из надежно доказанных мерянизмов [Альквист 1997: 26, 31]. Об этом написано и в одной из наших работ [Матвеев 1974]. Материалы картотеки СТЭ подтвердили существование р. Вёкса, соединяющей оз. Большой Лоск из группы Молотовских озер с р. Вологда (у А.И. Попова озеро назы-

⁶ А. Альквист считает название *Которосль* (< *Которость*) домерянским [Альквист 1997: 34], но это к решаемому вопросу отношения не имеет, так как оно было мерянским по употреблению.

⁷ Заметим, что этнограф Т.А. Бернштам давно связала северные названия типа *Ростово* ("ростовщины") и *Устья* с ярославскими *Ростов* и *Устье* [Бернштам 1973: 262, 265, 305].

⁸ *Мирские Камни*, интерпретируемые, правда, но без сомнения, А. Альквист как *Мерские* (т.е. мерянские) *Камни* [Альквист 1996] на РС пока не обнаружены.

вається Масатовским), но важнее, что в вологодских местах была обнаружена еще одна *Вёкса*, пролив, соединяющий оз. Токшинское с оз. Кубенским (см. карту).

Поиск *Синих Камней* в картотеке СТЭ тоже принес результаты (см. карту). В пределах СУ было обнаружено 6 *Синих Камней* (ранее сообщалось о 5), а в непосредственной близости от этого микрорегиона в бассейнах Кокшеньги, Ваги и Вели еще 7. Эти 13 названий явно образуют одну общую зону. На остальном РС обнаружено пока только 9 *Синих Камней*, рассредоточенных по всей его огромной территории (по одному в Няндомском, Онежском, Пинежском, Шенкурском районах Арханг. обл. и в Белозерском, Великоустюгском, Грязовецком, Кичменгско-Городецком и Усть-Кубинском районах Вологод. обл.). Конечно, такая концентрация *Синих Камней* в Важско-Устьянском микрорегионе не может быть случайной: она по своей плотности сопоставима с *Синими Камнями* примерно такой же по площади территории Ростовского и Переславльского районов Ярославской области (по данным А. Альквист – 14 названий), при этом на других среднерусских территориях скопления *Синих Камней* пока не обнаружены [Альквист 1997: 34]. В свете всего сказанного *Синие Камни* Ярославского края и Важско-Устьянского региона могут быть однозначно интерпретированы как своеобразные мерянские индикаторы русского происхождения (может быть, древние кальки), указывающие наряду с перенесенными названиями *Ростово*, *Устья*, *Которосль* на переселение части ярославских (скорее всего, ростовских) мерян из ИМЗ на РС. Разумеется, даже среди важско-устьянских *Синих Камней* (как и среди ярославских) могут быть и чисто "цветовые", и это тем более относится ко всем другим *Синим Камням* РС. В то же время есть некоторые основания полагать, что ближайшие к важско-устьянским *Синие Камни* (Няндомский, Шенкурский, Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, а с учетом названий *Вёкса* близ Вологды также Усть-Кубинский, Грязовецкий и, возможно, Белозерский) могут быть связаны с мерянами. Но это уже трудно доказать, за исключением Усть-Кубинского *Синего Камня*, который находится между двумя вологодскими *Вёксами*.

Предположение о существовании вологодской группы мери, выдвинутое по индикаторам *Вёкса* (2 названия) и *Синий Камень* (находится на берегу Кубенского озера), привело к выявлению новой группы названий на *-бал*, *-бол* в районе Кубенского озера (см. карту), которые соответственно должны интерпретироваться как мерянские (*Вохтоболка*, *Нёнбал*, *Сомбалка*) и ряду новых мерянских этимологий на "марийской" почве для физико-географических объектов, ср. река *Кубена* (озеро *Кубенское*) и марийск. *куп* "болото", *купан* "болотистый" (берега Кубенского озера сильно заболочены), или *кү* "камень", *күан* "каменистый" (в этом случае основа **kiw*- "камень", претерпевая "марийскую" лабиализацию **i* > *й* перед **w*, сохраняет согласный билабильный звук, который русским языком был воспринят как *б*, хотя пока нельзя отрицать и **w* > **b* в языке-источнике; укажем ещё на интересное свидетельство начала XVIII в.: "на Кубенском озере монастырь Каменной" [КБЧ 1950: 166]), *Туровские горы* и марийск. *түр* "край", *куп түр* "край болота" (эти горы расположены вдоль Кубенского озера, окаймляя его болотистые берега), проток *Пельма* и марийск. *пел*, *пеле* "половина" (проток делит на две равные части дельту Кубены). Сюда же может быть следует отнести и название р. *Вологда* (ср. марийск. *волгыдо* "светлый"), а также наименование многочисленных протоков *Пучкас* (есть и географический термин *пучкас* "проток", "пролив"), сопоставляемых с марийск. *пуч* "ствол", "стебель", "труба", фин. *ritki* "труба", "ствол", морд. *почко* "цевка", "стержень" (подробности см. [SKES: 661–662]), ср. русск. *труба* "рукав", "проток", *речная труба* "русло меженное" [Даль IV: 435], ср. ещё: *Ачево*, д. и р. – марийск. *ача* "отец"; *Вондаж*, р. и *Вондож*, бол. – *вондо* "куст"; *Илешка*, р. – *ильше* "житель"; *Кубовка*, р. – *кү* (< **küw*- "камень"); *Лапач*, р. – *лап*, *лапем* "низина", "низкий"; *Лыбас* (*Ключевой Лыбас* и *Грязной Лыбас*), сырые луга на берегу реки – *лыте* "заводь", "залив"; *Неюг* (*Нейг*), р. – *ний* "лыко" + мерянск.

юг "река" (марийск. *йогы* "течение", "поток"); *Тумас*, выгон – *тум, тумо* "дуб"; *Ших*, луг – *шига* "леший"; *Шола*, луг – *шоло* "вяз".

Таким образом, основываясь на принципе выделения микрорегионов и используя уже апробированные критерии (мерянские индикаторы), можно придти к выводу о существовании гнезда мерянской топонимии в районе Кубенского озера, верховой Сухоны и Вологды, свидетельствующего о пребывании там в неуставленное пока время (если *Кубена* и *Кубовка* отражают **kīw-* > **kīw-*, то уже после "марийской" лабиализации) группы мерян, которых условно можно назвать вологодскими.

В Важско-Устьянском микрорегионе (в дальнейшем ВП – Верхнее Поважье) названия *Вёкса* пока не зафиксированы и, скорее всего, их обнаружить и не удастся, так как здесь очень мало озер и озерных стоков. Опираясь, однако, на другой индикатор – *Синие Камни* – поиски мерянских названий были продолжены и в ВП за пределами СУ. В окружении трех *Синих Камней* оказалось село *Сарбала* к ЮЗ от региона СУ (и недалеко от села *Ростово*). Два *Синих Камня* указали на деревню *Вожбола* на реке Вага, название которой легко интерпретируется на мерянской почве как "Деревня (*бол*) на притоке (*вож*)". Кроме того, в бассейне верхней Ваги было обнаружено второе название *Вожбола* (урочище) и ойконим *Кушпал* (ср. *Кужбал* в КК). Наконец, еще для одного названия *Вожбал* (уже третьего!), обозначающего населенный пункт и реку в Тотемском районе Вологодской области, предложил ту же самую этимологию (*вож* + *бал*) А.В. Кузнецов [А.В. Кузнецов 1991: 91–93]. Он же относит к мерянским и тотемское название *Сомбал*, которое следует отличать от кубенского *Сомбалка*. Кроме того, выше по Устье был выявлен ойконим *Вороспало*, ниже по Ваге топонимы *Курнополь*, *Райбола*, *Рамболка*, *Торопало* (марийск. *тора* "дальний"), а юго-восточнее Вологды название населенного пункта *Юмбалово* (марийск. *юмо* "бог", "божий"). В результате наметился своего рода "пояс" предположительно мерянских ойконимов на *-бал*, *-бол* и т.п., идущий с северо-востока от ВП к Кубенскому озеру (см. карту) и смыкающийся на юге с аналогичными костромскими (*Кужбал*, *Ружбал*), а на юго-западе – с ярославскими названиями. Смежность с ИМЗ является дополнительным аргументом в пользу их мерянского происхождения.

Наиболее перспективен для поисков мерянского субстрата кроме района Кубенского озера все же северо-восточный угол этого "пояса", очерченный плотной зоной *Синих Камней* (см. карту), так как в промежутке между Вагой, Сухоней и Кубеной, кроме указанных А.В. Кузнецовым топонимов *Вожбал* и *Сомбал*, других предположительных мерянизмов пока не обнаружено, кроме *Вылшонтасная* (см. выше).

Между тем, в ВП (включая СУ) выявлены и новые факты. Большой интерес представляет, в частности, название *Едьма* – два села (СУ и Шенкурский район Арханг. обл.), а также 16 различных угодий, ареал которого в целом совпадает с зоной *Синих Камней* в ВП (см. карту). Слово это примечательно прежде всего в том отношении, что оно на РС нигде больше не прослеживается, отличаясь по своему звуковому облику от широко распространенного *едома* с его богатейшей семантикой, связанной с обозначением различных видов местности ("возвышенность", "высокий берег", "лесная глушь", "отдаленная местность" и т.п. [СРНГ 1972: 323]). Будучи несомненным географическим термином, оно тем не менее отсутствует в местной лексике. М. Фасмер считает фонетически близкое *едма* неясным словом [Фасмер, 2: 9]. Слово **едьма* не фиксируется в словарях древнерусского языка, нет его и в СРНГ. Все это в сочетании с совпадением ареалов *Едьма* и *Синий Камень* позволяет обратиться к мерянским и марийским источникам.

Прежде всего, естественно, возникает предположение, что это слово родственно мерянскому топоформанту *-едом*, *-одом*, обозначавшему, согласно А.И. Попову, какой-то вид угодья или поселения [Попов 1974: 19–20], ср. *Шельшедом*, *Шушкодом* в ИМЗ, а также *Леждом* на р. *Лежа* на крайнем юге Вологодской области. Это предположение

подтверждается и названиями двух сел *Едьма* в ВП. Трудность, однако, в том, что в мерянских словах твердое *д*, а в ВП *д'*. Кроме того, все многочисленные названия урочищ *Едьма*, как правило, находящихся близ населенных пунктов, невозможно возвести к обозначению поселений. И, наконец, что очень существенно: для названий урочищ, которые прилагаются исключительно к близлежащим полям и лугам, характерна также параллельная форма *Идьма*, которая иногда даже вытесняет *Едьма*. Это позволяет предположить, что в названиях урочищ источником могло быть мерянское слово, родственное марийск. *идым* "гумно, ток", которое известно также в удмуртском языке и считается тюркским заимствованием, ср. чуваш. *йёттем* "гумно" (подробнее см. [Paasonen 1948: 21]). Учитывая, что для названий сел *Едьма* ни разу не засвидетельствован вариант *Идьма*, можно допустить, что произошла звуковая контаминация двух фонетически близких слов с забытой семантикой. Детали этого процесса восстановить трудно, но, видимо, широко употребительные ойконимы воздействовали на менее известные названия урочищ. При этом нельзя исключить, что названия как сел, так и урочищ восходят к одному общему мерянскому источнику, семантику которого еще предстоит уточнить, а фонетические различия (*e – u*) возникли уже на почве русских диалектов. Так или иначе, выбор невелик: перед нами одно или два мерянских слова.

С территорией ВП совпадает и северная часть примечательного ареала субстратной топоосновы *вохт-* (*Вохтоболка*, *Вохтога*, *Вохтома* и т.п.), простирающегося вплоть до территории вологодской мери и связывающего мерянскую зону РС с костромской (см. карту). Судя по названиям *Вохтоболка* и *Вёкса*, которые находятся в пределах этого ареала, по крайней мере часть топонимов с основой *вохт-* могут оказаться мерянскими по происхождению, и все – по употреблению. Значение основы *вохт-* до сих пор точно не установлено (предлагаются "проток, волок", "медведь"), но она наряду с коррелятивными основами *бохт-* (< *вохт-*), *охт-* и *ухт-* относится к числу самых распространенных на РС. Логично предположить, что начальное *в-*, которое затем в ряде случаев перешло в *б-*, представляет собой протетический звук перед *о*, а это в свою очередь объясняет возникновение начального *в-* в гидронимах *Вёкса*, поскольку и здесь могла появиться протеза (ср. марийск. *икса* "залив, пролив"). Это явление перед начальным гласным встречается и в марийском языке [Грузов 1964: 230–231].

Все выявленные в зоне ВП ареалы (*Синие Камни*, *Едьма*, *Вохт-*) совпадают в основных чертах с границами так называемых Устьянских волостей XVI–XVII вв., выделяемых Московским государством как особая административная единица Поморья, наряду с 14 уездами, заонежскими, лопскими погостами и Чарондской округой [Васильев 1979: 24–26]. Создание особой административной территории свидетельствовало о том, что в это время здесь еще проживало нерусское население или по крайней мере сохранялась память о нем. Поэтому можно отнести верхний предел существования важско-устьянской мери в ВП к XV–XVI вв.

В зоне ВП (за пределами СУ) также выявлен ряд предположительно мерянских топонимов, которые этимологизируются при помощи марийского языка: *Воштар*, р. – марийск. *ваштар* "клен" (*a > o* на русской почве) или *ваштыр*, *воштыр* "прут, лоза"; *Илукушное*, бол. – *иле* "влажный, сырой", *куж* "поляна" [Иванов 1978: 17; Галкин 1991: 140]; *Куваж*, (руч. два гидронима) – *кү* "камень", *важ* "исток" (еще один *Куваж* есть в регионе СУ); *Мекшевица*, р. ~ *мекш* "гнилушка", *мекшан* "гнилой"; *Оковерь*, поле – марийский антропоним *Ока*, *вер* "место"; *Пиева*, рчк. – *пий* "собака"; *Пинежка*, рчк. – *пинега* "щенок" (близ самого устья в речку впадает руч. *Собачий*⁹);

⁹ Эта этимология вынуждает вернуться к курьёзному, казалось бы, предположению, что и большой приток Сев. Двины *Пинега* все-таки просто "щенок" по сравнению с ней. В дальнейшем образное название волжских финнов могло быть переосмыслено прибалтийскими финнами как *Pieni jogi* "Маленькая река".

Пунжер, остров, леса в болоте – пўнчер "сосняк" (при основе печ- в других диалектах см. [Матвеев 1996: 18]), Пуя, р. – пўя "пруд, плотина" (река протекает через озеро); Пырапацкий, руч. – пырыспоч "головка камыша" (дословно "кошачий хвост"); Рожева, рчк. – рож "дыра, нора"; Рушева, р. и Рушкова, уроч. рядом с д. Рушановской – руш "русский; Сужога, р. – сузо "глухарь"; Чингаш, руч. – чинга "мелкослоистое дерево"; Шакиша, р. – шакише "противный, отвратительный"; Шокиша, р. – шокиш "рукав (реки)"; Шукша, р. – шукиш "червяк" и др.

Следует признать, что эта серия названий этимологически еще больше сходна с собственно марийскими наименованиями, чем топонимы СУ.

Как же объяснить все эти факты, особенно если учесть, что СУ – часть ВП и что несколько юго-восточнее "мерянского" треугольника СУ, т.е. уже в пределах ВП, жители двух смежных сел Дмитриево и Кырканда до сих пор имеют коллективное прозвище *черемисы*?

Мы далеки от отождествления мери и мари (черемисов), хотя и считаем марийцев наиболее близким к мере финно-угорским народом. Вместе с тем необыкновенно быстрое исчезновение мери со страниц русских летописей вполне могло быть связано не только с быстрым обрусением этого народа¹⁰, но и с перенесением на ассимилируемых мерян наименования этнически и лингвистически наиболее близкого и притом территориально смежного народа – *черемисов*. В те времена такие переносы были очень распространены. Достаточно вспомнить *зырян* (см. [Матвеев 1984]), *остяков*, *татар*. А фонетическая близость этнонимов *мера* и *мари* (безотносительно к тому, являются ли эти имена вариантами одного слова или нет) могла способствовать переносу этнического названия *черемисы* и на мерян.

Но в пределах зоны ВП всё обстоит иначе. В свое время нами была поддержана старая этимология А.И. Шёгрена, связывающего этноним *зырянин* с фин. *surjä* "сторона", "край" [Матвеев 1984], а также было высказано предположение, что первоначально *зырью* именовалась какая-то часть Чуди Заволочской, с которой это этническое наименование было со временем перенесено на более восточное пермское население – коми-зырян. Там же указывалось, что слово *зырь* до сих пор употребляется в качестве коллективного прозвища жителей некоторых старожильческих русских деревень в бассейне Ваги и ее притоков – Вели, Пуи, Устьи и др. Как нам тогда представлялось, носители этого этнонима говорили на каком-то языке прибалтийско-финско-саамского типа.

Картографирование ойконимов, обозначающих населенные пункты, жители которых до сих пор именуются *зырью*, *зырянами*, принесло неожиданный результат: все 30 таких названий (см. карту) оказались в зоне наименований *Синие Камни*, *Едьма* и северной части ареала *во-*, *бо-*, т.е. в пределах ВП, включая также СУ с гидронимами на *енгарь* и *-курга*, где зафиксировано 13 из этих ойконимов.

Отсюда следует, что население зоны ВП, включая СУ (иначе говоря, древних Устьянских волостей), уже в период контакта с русскими (а коллективные прозвища могли возникнуть только в таких условиях) именовалось *зырью*, *зырянами*. Это объясняет, почему в микрорегионе ВП не встречаются названия, производные от этнонима *мера*: на поздних мерянских мигрантов был перенесен внешний этноним *зырь*. Как сами они себя называли, вряд ли удастся установить. Открытым пока остается и вопрос о бывлой этнической принадлежности носителей коллективного прозвища *черемисы*, проживающих в селах Дмитриево и Кырканда.

Можно, однако, предположить, что употребление нескольких этнонимов в одном значении обусловлено этнической неоднородностью самой мери. Как известно, имя этого народа впервые упоминается в памятнике VI в. (Merens). Ко времени прихода

¹⁰ Скорость процесса обрусения мери, пожалуй, несколько преувеличивается: уже многое указывает на то, что в глухих местах вроде Устьянских волостей мера держалась долго.

славян мера занимала обширные территории, более значительные, чем вместе взятые современные республики Мари Эл, Мордовия и Чувашия. Поэтому есть основания думать, что за столетия, истекшие с VI в., и мера включила в свой состав разнородные этнические образования, пусть даже все они были финно-угорскими. Следствием этого, а не только развития диалектных особенностей, и могли стать те значительные внутренние различия в мерянской субстратной топонимии, с которыми встречаются исследователи. Поэтому стремление А. Альквист обособить центральную мерю может иметь под собой определенные основания.

Миграции меры на север, когда бы они ни начались, определенно осуществлялись по разным путям, при этом мера могла подселаться к ранее переселившимся на север родственным племенам марийского типа и к своим прямым мерянским родичам, которые уже освоили северные края. В массовом исходе на север могли участвовать и марийцы, которые в свою очередь подсеялись как к своим ранее переселившимся родичам, так и мерянам. Если принять эту схему, многое в запутанной истории с северными мерянами становится ясным. Для удобства составим таблицу, в которой объединим наиболее убедительные данные о наречиях ярославских, или центральных, (Ц), и костромских (КК) мерян, обитателей Вологодского (В), Среднеустьянского (СУ) и отдельно Важско-Устьянского (ВП без СУ) микрорегионов, а также по марийскому языку (МЯ). Отдельной графой дадим сведения о *Синих Камнях* с введением количественного показателя: единичные (+) и множественные (++) фиксации.

		<i>Синий Камень</i>	<i>-бал -бол</i>	<i>Вёкса</i>	<i>-курга</i>	<i>-енгарь -ингирь -энгер</i>
ИМЗ	Ц	++	+	+	-	-
	КК	+	+	+	+	+
РС	В	+	+	+	-	-
	СУ	++	+	-	+	+
	ВП (без СУ)	++	+	-	-	-
МЯ		-	-	-	-	+

Таблица позволяет сделать ряд выводов, часть которых, разумеется, неоспорна и потребует дальнейшего обоснования.

1. Центральная и костромская мера по языковым показателям значительно различались. Костромская мера была ближе к марийцам, что обусловлено ее географическим положением. Возможно, костромской диалект меры был переходным от мерянского языка к марийскому или испытал влияние со стороны марийского языка, поскольку есть предположение о том, что костромская мера вторична по отношению к центральной [Рябинин 1986: 118]. В связи с этим полезно вспомнить и слова А. Альквист о том, что близкая к марийцам группа меры вполне могла заселять часть Костромского края [Альквист 1997: 33].

2. Вологодская мера имеет те же языковые характеристики, что и центральная. Она вторична по отношению к центральной мере, будучи связанной с ней надежным водным путем по Шексне. Топонимические параллели с КК (ср. оз. *Чухлома* и р. *Кондоба* на вологодской территории и оз. *Чухломское* и р. *Кондоба* в КК), конечно, могли возникнуть в мерянских диалектах независимо друг от друга. В то же время нельзя отрицать возможность миграции каких-то групп костромской меры на вологодскую территорию. В этом отношении особенно интересны вологодский гидроним *Шингарь* (басс. Сухоны) и костромской *Шингарь* (басс. Костромы), верховья которых сходятся. Поскольку форманты *-енгарь* и *-ингирь* часто перерабатывались на русской почве [Матвеев 1996: 11] и это сопровождалось изменениями в исходе топонимии, допустимо восстановление формы **Шимингарь* "Черная речка". Это предположение

подтверждается тем, что один из истоков вологодского *Шингаря* называется *Черный Шингарь*. Видимо, костромские меряне хорошо знали и прямой короткий путь между Костромой и Сухоной.

3. Среднеустьянская мера по языковым характеристикам близка к костромской, и может рассматриваться как вторичная по отношению к ней.

4. Важско-устьянский ареал (без СУ) при наличии целого комплекса марийских этимологических параллелей характеризуется только одним мерянским индикатором *-бал*, и в то же время полным отсутствием важнейшего марийского индикатора *-энгер* "река".

5. Поскольку ареал *Синих Камней* и перенесенные названия *Ростово-Устья-Которосль* выходят за пределы СУ и характерны для всей территории ВП, их следует считать внеязыковыми (по отношению к мере) индикаторами ВП. По этим параметрам вся зона ВП связана с центральной мерей.

6. Марийский язык по рассматриваемым показателям объединяется только с КК и СУ наличием общего детерминанта *-енгарь ~ -ингирь ~ энгер*.

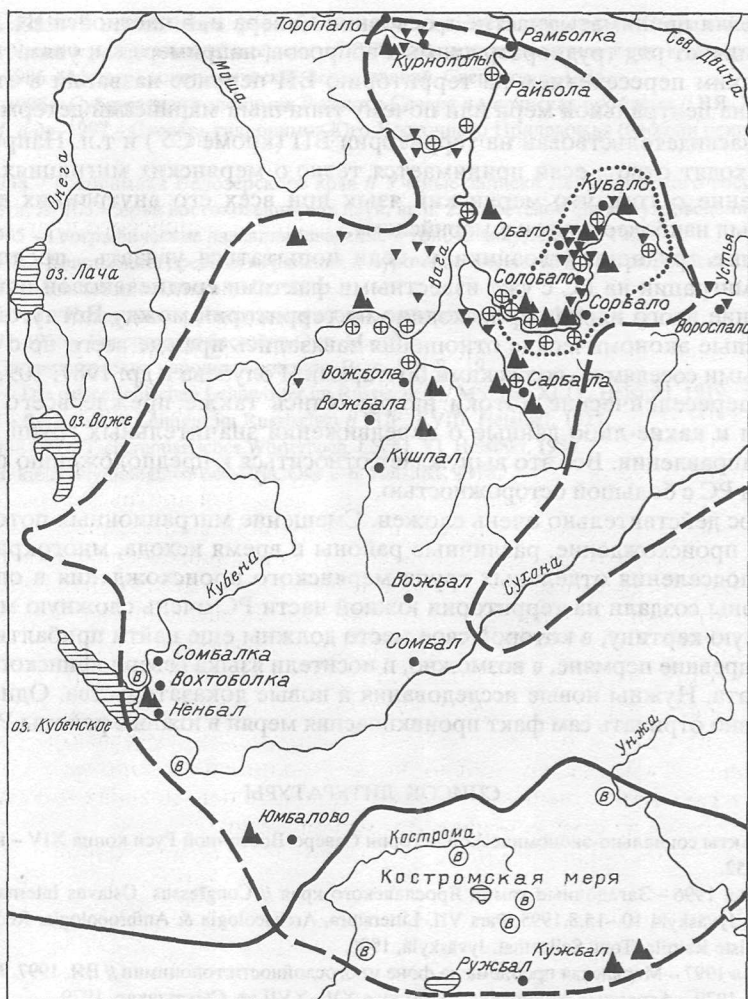
Разъяснений требуют противоречия, которые наблюдаются в ареалах ВП и СУ, тем более, что они соотносятся как целое и его часть. Эти противоречия можно снять, только признав, что мерянские элементы СУ двухслойны (фактически они, конечно, многослойны) и образуют два хронологически различающихся ареала: более широкий (ВП, включая СУ) образован переселенцами из микрорегиона центральной меры (на это указывают переносы названий, *Синие Камни*, названия на *-бал*, *-бол* и т.п., которые, однако, в зоне СУ могут принадлежать и другой группе мерян – среднеустьянской, возможно, *Едьма*), а меньший (СУ), находящийся внутри ВП (см. карту), связан с КК (*-бал*, *-бол* и т.п., *-курга*, *-енгарь*). Их относительную хронологию определить непросто¹¹, но следующее соображение позволяет думать о том, что ареал ВП древнее: зона СУ имеет предельно четкие границы и хорошо сохранившиеся формальные типы, что обычно бывает при сравнительно поздних миграциях, а зона ВП размытые границы и разрушенные формальные типы.

Особняком стоит вопрос о волжско-финских (мерянских, марийских или иных) элементах в топонимии Белозерья. Неподтвержденные фактами соображения о существовании мерянских названий в Белозерском крае находим у А.И. Попова [Попов 1948: 166–167]. А. Альквист опять же без конкретизации указывает на большую общность в ойконимии центральных мерянских земель с Белозерским краем, чем с названиями бассейнов более северных рек [Альквист 1997: 28].

Из конкретных этимологических наблюдений представляет интерес обнаруженная А.В. Кузнецовым в Вытегорском районе Вологодской области мерянско-вепско-русская метонимическая калька *Шимозеро* (марийск. *шим* "черный" = вепс. *Must hoid* = русск. *Черная Яма* [Кузнецов 1991: 82–84]). Звучащее вполне по-мерянски название реки *Шимакса*, *Шимокса* [Муллонен и др. 1997: 3] в бассейне р. Свирь (а это уже Ленинградская область) усложняет вопрос, выводя его на севернофинский уровень. Широкое распространение основы *шим-* на РС (*Шима*, *Шимпала*, *Шимушка* и т.п.) подтверждает это. Напротив, еще одна метонимическая калька на территории ИМЗ в бассейне Клязьмы, образованная названиями смежных рек *Шимахта* и *Черная* [Смолицкая 1976: 203], вполне может быть связана с мерянским источником.

Волжские элементы в топонимии Белозерского края практически не выявлены и еще ждут своего исследователя. Пока же можно констатировать, что по топонимическим данным некоторые группы мерянского населения ИМЗ (включая КК) проникли на территорию юго-восточной части РС, ограниченную с севера примерно линией Кубенское озеро – верхнее (возможно и среднее) течение Ваги – бассейн Устья – Сев. Двина, и осваивали ее. По-видимому, этот процесс происходил посте-

¹¹ Правила ареалов здесь неприменимы, поскольку мы имеем дело не с инновациями, а суперстратными явлениями.



 Условная граница ИМЗ	 Диконимы на -вал, -бол и т.п.	 Едьма
 Арвал во-го	 Синий камень	 Зырь
 Арвал-енгарь	 Бёкса	

пенно, волнами, охватывая в разное время различные микрорегионы ИМЗ и РС. Начало его определить трудно, возможно, оно относится ко второй половине I тыс. н.э., завершение – к середине истекающего тысячелетия. Недостаток фактов не позволяет с определенностью судить о направлениях движения, хотя можно думать о двух основных потоках: из земель центральной (ростово-ярославской) мери к Кубенскому озеру, а затем по Сухоне или Кубене к истокам Ваги и Устье и из КК через Сухону к Ваге или Кокшеньге и опять же к Устье. Может быть, процесс освоения этого второго пути отражен в появлении названий *Вожбал* и *Вожбола* (два топонима), расположенных почти строго по линии юг – север в бассейнах Сухоны и Ваги.

Вопрос об участии собственно марийцев в освоении РС имеет две стороны – лингвистическую и историческую. Судя по корпусу топонимических этимологий и фиксации в ВП коллективного прозвища *черемисы* (если оно относилось к мари),

марийцы могли принимать участие в освоении Севера и, в частности ВП. При этом, однако, возникает ряд трудноразрешимых вопросов, например, как увязать с возможным марийским переселением на территорию ВП перенос названий в эти места из микрорегиона центральной мери или почему типичный марийский детерминант *энгер* вообще не засвидетельствован на территории ВП (кроме СУ) и т.п. Напротив, такие вопросы находят ответ, если принимается тезис о мерянских миграциях на север и предположение о том, что мерянский язык при всех его внутренних диалектных различиях был наиболее близок к марийскому.

Не меньше трудностей возникает, если попытаться увязать предполагаемые марийские миграции на РС с уже известными фактами средневековой истории мари. Формирование этого народа происходило на территории между Ветлугой, Вяткой и Волгой, тесные экономические отношения завязались прежде всего не с северными, а с восточными соседями – волжскими болгарами [Голубева и др. 1987: 109, 115], затем татарами, переселенческие потоки направлялись также прежде всего на восток. Неизвестны и какие-либо данные о передвижении значительных групп марийцев в северном направлении. Все это вынуждает относиться к предположению о миграциях марийцев на РС с большой осторожностью.

Но вопрос действительно очень сложен. Смешение миграционных потоков, имеющих разное происхождение, различные районы и время исхода, многократные переселения и подселения отдельных групп мерянского происхождения в одни и те же микрорегионы создали на территории южной части РС очень сложную мозаичную и многослойную картину, в которой свое место должны еще найти прибалтийские финны, саамы, древние пермяне, а возможно, и носители языка севернофинского (волжско-го?) субстрата. Нужны новые исследования и новые доказательства. Однако вряд ли целесообразно отрицать сам факт проникновения мерян в южные районы РС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Акты 1952 – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI вв. Т. I. М., 1952.
- Альквист Арья 1996 – Загадочные камни Ярославского края // Congressus Ostavus Internationalis Fennougristarum, Jyväskylä 10.–15.8.1995. Pars VII. Litteratura, Archaeologia & Anthropologia. Redegerunt Heikki Leskinen, Risto Raittila, Tonu Seilenthal, Jyväskylä, 1996.
- Альквист Арья 1997 – Мерянская проблема на фоне многослойности топонимии // ВЯ. 1997. № 6.
- Васильев Ю.С. 1979 – Аграрные отношения в Поморье XVI–XVII вв. Сыктывкар, 1979.
- Веселовский С.Б. 1974 – Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.
- Галкин И.С. 1991 – Кто и почему так назвал: Рассказы о географических названиях марийского края. Йошкар-Ола, 1991.
- Голубева Л.А. и др. 1987 – Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
- Гордеев Ф.И. 1983 – Этимологический словарь марийского языка. Т. 2. Йошкар-Ола, 1983.
- Грузов Л.П. 1964 – Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении. Йошкар-Ола, 1964.
- Грузов Л.П. 1969 – Историческая грамматика марийского языка: Введение и фонетика. Йошкар-Ола, 1969.
- Даль В.И. 1955 – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1955.
- Иванов И.Г. 1978 – Топонимические этюды (о названиях некоторых райцентров Марийской АССР) // Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола, 1978.
- КБЧ 1950 – Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950.
- Кузнецов А.В. 1991 – Язык земли Вологодской. Архангельск, 1991.
- Кузнецов В.В. 1982 – Местные географические термины в ойконимии Марийской АССР (структура ойконимов и происхождение формантов) // Вопросы марийской ономастики. Вып. 3. Йошкар-Ола, 1982.
- Кузнецов В.В. 1985 – Названия населенных пунктов Волжского района Марийской АССР (историко-этимологический анализ) // Вопросы марийской ономастики. Вып. 5. Йошкар-Ола, 1985.
- Лыткин В.И., Гуляев Е.И. 1970 – Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.
- Матаев А.К. 1974 – К этимологии коми-зыр. *вис-(виск-)* // ALH. Т. 24 (1–4). Budapest, 1974.
- Матаев А.К. 1978 – Топонимические этимологии. XI. Название озера *Неро* // Советское финно-угроведение. 1978. № 1.
- Матаев А.К. 1984 – Еще об этимологии этнонима *зырянин* // Этимологические исследования. Вып. 3. Свердловск, 1984.

- Матвеев А.К. 1985 – К составлению формализованной картотеки топонимов Свердловской области // Топонимия Урала и севера европейской части СССР. Вопросы ономастики. Вып. 17. Свердловск, 1985.
- Матвеев А.К. 1986 – Методы топонимических исследований. Свердловск, 1986.
- Матвеев А.К. 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1.
- Муллонен И.И. и др. 1997 – Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь). СПб., 1997.
- Попов А.И. 1948 – Топонимика Белозерского края // Ученые записки Ленинградского государственного университета, № 105. Серия востоковедческих наук, вып. 2. Советское финно-угроведение. Л., 1948.
- Попов А.И. 1965 – Географические названия (введение в топонимику). М.; Л., 1965.
- Попов А.И. 1974 – Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия (сборник статей). Л., 1974.
- Рябиниц Е.А. 1986 – Костромское Поволжье в эпоху средневековья. М., 1986.
- Смолицкая Г.П. 1976 – Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
- СРНГ 1972 – Словарь русских народных говоров. Вып. 1 – Л., 1972 –.
- Kalima J. 1919 – Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen // MSFOu. XLIV. Helsinki, 1919.
- Kalima J. 1927 – Syrjänisches Lehngut im Russischen // FUF. XVIII. Helsinki, 1927.
- Raasonen H. 1948 – Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. LSFU. XI. Helsinki, 1948.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1–6. Helsinki, 1978.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Turkic languages. V.1. 1997. № 1/Ed. by L Johanson. Wiesbaden. Harrassowitz Verlag. 156 p.

Вышел в свет первый номер журнала "Turkic languages", издаваемый известным шведским тюркологом Ларсом Юхансоном. Во вступительных статьях, написанных издателями ("An anchorage for Turkic studies") и профессором Восточного института Венского университета Карлом Х. Менгесом ("Der neuen Zeitschrift Turkic languages zum Geleit"), отражены основные задачи нового журнала, а также дается обзор прошлых периодических изданий по тюркологии.

В статье Карла Х. Менгеса отмечается тот факт, что, за исключением Советской тюркологии, издававшейся с 1970 г. по начало 90-х г., тюркология за все время своего существования была лишена собственного тюркологического журнала. Даже в первые десятилетия XX века, в период ее бурного развития, связанного с изучением орхонских и уйгурских памятников, многие важнейшие тюркологические работы публиковались в различных периодических изданиях, специализировавшихся в других, хотя и смежных областях. Такое положение наблюдалось несмотря на то, что в Германии, других странах Центральной и Западной Европы стабильно издавались целые серии журналов по германским, романским, славянским, семитским языкам, по египтологии, по классической филологии и пр. В России как в настоящее время, так и раньше значительное число тюркологических работ публикуется в периодических изданиях Академии наук, Вестника университета, а также в виде различных сборников, что, однако, не может снять потребность в издании специализированного тюркологического журнала, поскольку для тюрколога, стремящегося быть в курсе последних исследований, затрагивающих область его научных интересов, работа с большим числом тематически разноплановых публикаций оказывается весьма затрудни-

тельной. В этой связи, видимо, не может быть двух мнений относительно острой потребности в издании достаточно представительного, широкомасштабного журнала по тюркологии, каким и призван быть рецензируемый журнал, который начал издаваться Л. Юхансоном.

Журнал "Turkic languages" является международным научным периодическим изданием, посвященным изучению тюркских языков в широком плане. В нем найдут отражение исследования по всем тюркским языкам самого различного характера: описательные, исторические, сравнительные, ареальные, социальные, типологические, связанные с проблемами становления языковой способности и другие. При этом тематика публикуемых работ не будет ограничиваться лишь лингвистической тематикой в узком смысле слова, включая дискуссионные проблемы филологии, литературы, устных текстов, истории и пр., хотя лингвистические данные по тюркским языкам займут центральное место во всех помещаемых статьях. Достаточное место в журнале предполагается отвести и теоретическим проблемам, освещению которых затрагивает конкретный тюркский лингвистический материал, генетическим и типологическим проблемам тюркских языков, их межъязыковым контактам, в особенности в рамках алтайских, а также палеоазиатских, индоевропейских, уральских и др. языков. В журнале будут публиковаться статьи, обзорные статьи и обзоры, сообщения о научной деятельности, о новых научных проектах, исследовательских группах, конференциях.

В течение последних двух десятилетий за пределами традиционной тюркологии возникли новые мощные течения в изучении турецкого языка, а также других тюркских языков. Недавние политические изменения

привлекли особое внимание к изучению тюркских языков Средней Азии и других районов бывшего Советского Союза. В наши дни перед лингвистической тюркологией стоит целый ряд новых задач и неизученных проблем, которые невозможно решить без организации центрального форума лингвистов-тюркологов. Отсутствие соответствующего общего периодического журнала приводит к существованию ненужных барьеров между различными кругами тюркологов, имеющих фактически общие научные интересы. Результаты и научные достижения одних остаются часто неизвестными для других. Журнал ставит перед собой цель преодоления подобных препятствий, которые серьезно затрудняют развитие тюркологии и выработку общего единого научно-понятийного фундамента, и ориентируется, таким образом, на оживление лингвистической тюркологии во всех ее аспектах.

Каковы бы ни были личные теоретические ориентации у членов редакционной коллегии, сам журнал, как таковой, не стоит на позициях какой-то одной лингвистической теории. Издательская политика журнала будет носить характер, открытый для различных научных мнений и подходов, свободный от догматики. Единственным критерием этой политики будет лишь достаточно высокий качественный уровень предлагаемых работ. Поэтому читатель найдет в журнале и конфликтующие научные позиции, например, в части теории и методов анализа, трактовки генетической принадлежности и классификации тюркских языков. Сосуществование различных подходов, дискуссионность, представленность широкого спектра школ и направлений будут способствовать плодотворному обмену идей. В этой связи журнал стремится быть форумом, общей платформой, на которой ученые, представляющие различные научные традиции и ориентации, смогли бы общаться друг с другом, слушать друг друга и устанавливать контакты. Вместе с тем, журнал характеризует неизменное бережное отношение к достижениям традиционной тюркологии и усилия к сохранению должной научной преемственности поколений тюркологов.

Другой особенностью журнала является его интернациональный характер. Несмотря на то, что он издается Л. Юхансоном при участии группы европейских тюркологов: А. Берты, Х. Бёшотена, Б. Брендемёна, Е. Чато, Е. Гюрсой-Наскали, И. Муравьевой, Д. Насилова, С. Езоя, в нем будут представлены исследования по тюркским языкам вне зависимости от географии местонахождения и научной работы авторов. Поскольку журнал

обращается к широкой международной аудитории, основным языком публикаций выступает английский.

Вышедший первый номер журнала, помимо краткого издательского введения и указанных выше вступительных статей, содержит также статьи: Б. Комри о связях изучения тюркских языков с типологическими исследованиями, Дж. Льюиса об одной из интересных фаз процесса реформирования турецкого языка, Х. Бёшотена и А. Бакуса о смене языковых кодов и лингвистических изменениях, М. Ердала с комментариями к одному древнейтюркскому документу, Р. Дора, анализирующего турецкие устно-разговорные ритмизованные считалки, К. Шёнига относительно попытки новой классификации тюркских языков. В номер вошли: отчет Х. Нугтерена и М. Рооса о 30-й Сессии ПИАК, а также рецензии, написанные К. Агаши, П. Баккером, А. Коджаманом и Э. Тенишевым.

Б. Комри в статье "Turkic languages and linguistic typology" привлекает внимание к типологическим нюансам, которые отличают различные тюркские языки друг от друга и часто остаются вне поля зрения исследователей в силу общей традиционной характеристики тюркских языков как агглютинативных. В статье рассматривается гармония гласных, агглютинативные черты морфологии и синтаксис развернутых дополнительных членов предложения. Остановившись на случаях непоследовательности закона небного притяжения в тюркских корнях (типа *elma* 'яблоко'), автор справедливо отмечает ориентацию аффиксальных гласных не на первый, а на последний гласный корня (например, *elmalar* 'яблоки', а не **elmaler*), сравнивает тюркскую гармонию гласных с аналогичным явлением в чукотско-камчатских языках, затрагивает проблему теоретической трактовки исклнений и отклонений от законов гармонии. При рассмотрении агглютинативных черт морфологии автор убедительно показывает плодотворность разработанных Э. Сепиром признаков фузийности и синтетичности языков, указывая на стремление языка обеспечить оптимальное сочетание, с одной стороны, агглютинативного начала с его ясно очерченной семантикой и формой показателей и, с другой, начала фузийного, позволяющего избежать построения слишком длинных цепочек показателей в словоформах. Вместе с тем, хотелось бы предостеречь, как нам представляется, от несколько прямолинейного критерия привлекательности для языка тех или иных типологических моделей, а также

критерия скорости освоения детьми грамматических категорий как определяющих типологические черты языка, тем более что сам Э. Сепир считал процессы типологического изменения, или, в его терминологии, дрейфа языков проявлением глубоких и весьма многосторонних законов [Сепир 1993:169].

Статья Дж. Льюиса "Turkish language reform: the episode of the sun-language theory" развивает материалы одной из глав книги У. Хейда о языковой реформе в Турции [Heud 1954] и посвящается той фазе реформы, когда центральное место в идеологии ученых-реформаторов занимала так называемая солнечная теория происхождения языка, в соответствии с которой турецкий считался наиболее древним языком и которая вынашивалась самим Ататюрком, бывшим увлеченным любителем-этимологом. Автор вводит читателя в живую атмосферу первых лет проведения языковой реформы, приводит подробные мнения и свидетельства видных турецких лингвистов Ф.Р. Атая, А.С. Левенда, В. Хатибоглу, Е. Аксоя, А. Диличара, А. Эмре, А. Эрджилясуна и др. В статье рассказывается о некоторых запоминающихся трагикомических ситуациях, одна из которых связана, например, с шутовой этимологией слова *hüküm* 'суждение' как исконно тюркского, происходящего якобы от тюркского *ök* 'интеллект' и словообразовательного аффикса *üm*.

Языковым реалиям наших дней посвящена статья Х. Бёшотена и А. Бакуса "Code-switching and ongoing linguistic change", в которой рассматривается речь детей турецких переселенцев в Голландии, изобилующая смесью турецко-нидерландских элементов. Полученные теоретические выводы сравниваются с аналогичными данными по переключению языкового кода между арабским и нидерландским в речи выходцев из Марокко в Голландии. Анализ приводимых данных позволяет сделать вывод о том, что для типологически сходных единиц двух соответствующих языков наблюдается относительно скорое вытеснение доминирующим языком среды форм родного языка. Что же касается типологически различных фрагментов языковых систем, то наблюдается явление внутрифразового переключения языковых кодов, при котором грамматические структуры родного языка оказываются трансплантированными в синтаксические структуры доминирующего языка среды. Важно, что эти процессы с течением времени формируют отличительные черты соответствующих миноритарно-территориальных языков и диалектов.

Статья М. Ердала "Further notes on the Irk

Bitig" представляет собой подробный текстологический анализ неясных или спорных мест известного памятника древнейтюркского литературного языка "Irk Bitig" (Книги гаданий), написанного руническим письмом на бумаге в X веке и происходящего из Восточного Туркестана. Данный памятник, найденный в 1907 г. М.А. Штейном и опубликованный В. Томсенем, был предметом анализа и источником материала для многих тюркологов. Выход в свет в 1993 г. работы Т. Текина [Tekin 1993] представлялся некоторым как определенная заключительная стадия изучения этого текста, после которой, по мнению Г. Дёрфера, "мало что остается исследовать или добавить" [Doerfer 1995]. Рецензируемая статья содержит 64 развернутых критических замечания, которые уточняют или опровергают соответствующие прочтения или текстологические толкования, даваемые Т. Текином, показывая, что приведенная выше оценка Г. Дёрфера не совсем, а может быть и совсем не верна. Хотелось бы привести следующий, особенно важный, на наш взгляд, пример. В своей грамматике языка Орхонских памятников Т. Текин критикует термин "türkü" и "türküt" 'тюрки, тюркский', считая их результатом неправильного прочтения слова *türük* [Tekin 1968:9]. В этой связи М. Ердаль справедливо отмечает, что руны, обозначающие лабиализацию, не являются силлабическими знаками в смысле, например, семитских алфавитов, они лишь указывают на огубленность образующей гласной того слова, в конце которого находятся. Поэтому встречающаяся иногда руническая запись t^2wr^2wk должна читаться не как *türük* или *türkü*, а просто как *türk*.

Р. Дор в статье "Counting-out rhymes of Turkey" отмечает, что считалки являются мало изученным, но содержащим важную информацию миниатюрным жанром. Эти речевые формы, воспроизводимые детьми перед началом игры, могут служить настоящей языковой лабораторией и незаменимым источником изучения механизмов овладения языком и культурой. В рецензируемой статье турецкие ритмизованные считалки впервые становятся предметом изучения и классификации. Автор раскрывает их ритмические, а также ритмико-просодические особенности, анализирует их содержание, в котором передается определенная базовая информация, отражаются народные верования и ритуальные элементы.

Работа К. Шёнинга "A new attempt to classify the Turkic languages" не является

законченной статьей и будет продолжаться в двух следующих выпусках журнала. Автор останавливается на исходных принципах новой классификации тюркских языков, которая будет опираться на фонетические признаки с одновременным привлечением лексических, морфологических и синтаксических особенностей, и органично включать в себя определенные черты существующих классификаций Н.А. Баскакова, И. Бенцинга, К.Х. Менгеса, Г.Й. Рамстедта, А.М. Рясенена, А.Н. Самойловича, Г. Дёрфера, Т. Текина. Автор различает два принципиальных подхода к классификации языков: генетический и учет их ареального взаимодействия, при этом генетическая принадлежность мыслится в виде древовидной схемы, в соответствии с которой несколько современных языков происходят от одного праязыка. Однако, по нашему мнению, новая современная классификация должна, прежде всего, опираться на принципиально иную концепцию самой сути праязыка, поскольку единого праязыка (единых праязыков) с его делением на диалекты, так сказать, по современному образцу существовать не могло. Более низкая по сравнению с современной социальная организация (качественно менее строгая регуляризация жизнедеятельности) определяла и качественно более низкую ступень структурированности праязыков (меньшую стабильность и регулярность воспроизведения форм). Функционирование праязыков принципиально ситуативно обусловлено, на них вовсе нельзя было выразить всего того, что может выразить язык современный. В этой связи диалекты современного языка выступают как регуляризации (переход в структуру) тех

формальных и семантических неопределенностей, которые были присущи соответствующему праязыку. Сказанное приводит к снятию непроходимой грани, разделяющей традиционное понимание генетической линии, или генетической преемственности (*genetic heritage*) в терминологии К. Шёнинга, с одной стороны, и ареального взаимодействия языков, с другой, поскольку ареальное взаимодействие (даже с языками иных типологий) выступает не чем иным, как современной, более высокой ступенью структурализации той динамики совокупных черт, которая присутствовала в праязыке в виде постоянно переходящих друг в друга формально и семантически менее устойчивых реализаций [Щека 1997:78].

В заключение хотелось бы пожелать журналу "Turkic languages" успешной и благодетельной деятельности на благо науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сенур Э.* 1993 – Избранные труды по языкознанию. М., 1993.
- Щека Ю.В.* 1997 – Схема-тезисы к теории реконструкции тюркского праязыка и стадий языковой эволюции // Вопросы тюркской филологии. Вып. III. М., 1997.
- Doerfer G.* 1995 – Central Asiatic journal. V. 39 – Rec.: T. Tekin. Irk Bitig. The Book of Omens. Wiesbaden, 1993.
- Heyd U.* 1954 – Language reform in modern Turkey. Jerusalem, 1954.
- Tekin T.* 1968 – A grammar of Orhon Turkic. The Hague, 1968.
- Tekin T.* 1993 – Irk Bitig. The Book of Omens. Wiesbaden, 1993.

Ю.В. Щека

Коллективная монография "Основы африканского языкознания. Именные категории" представляет собой первую книгу в серии исследований, издание которой запланировано отделом африканских языков Института языкознания РАН. Публикации серии, как предполагается, будут содержать основные факты и теоретические построения, характеризующие современный уровень знаний о языках Африки. Авторский коллектив (В.А. Виноградов, И.Н. Топорова, А.Д. Луцков, А.И. Коваль, В.Ф. Выдрин, В.А. Плунган) избрал структурно-типологический принцип представления языкового материала: каждое издание серии будет содержать описание однотипных категорий в различных языках.

Не является случайным то обстоятельство, что первый том предполагаемой серии содержит описание именных категорий: именные системы африканских языков, а точнее, системы именных классов, присутствующие в большинстве языков Африки, являются, вероятно, их наиболее характерным или по меньшей мере наиболее популярным типологическим свойством: "Африка – это континент классификативных систем, причем ядром функционально-семантического поля классификативности в огромном числе языков является категория именных классов" (с. 6).

Хотя количество языков, материал которых использован в сборнике, относительно невелико, сборник является довольно представительным, т.к. языки, в него попавшие, с одной стороны, принадлежат к различным генетическим группам, и, с другой стороны, обладают различными структурными типами именных систем; в сборнике представлены:

языки банту (раздел, содержащий обзор именных систем банту, написан И.Н. Топоровой) – пожалуй, наиболее известный массив языков с хорошо развитыми системами именных классов, получающих в основном префиксальную маркировку;

язык фула (западно-атлантическая группа нигеро-конголезской семьи; раздел написан А.Н. Коваль), – язык с обширным ареалом распространения, обладающий сложной системой именных классов с преимущественно суффиксальной маркировкой;

язык догон (группа гур нигеро-конголезской семьи; раздел написан В.А. Плунганом), не имеющий классной системы, но, как показывает автор, выражающий неко-

торые скрытые грамматические противопоставления внутри именной лексики;

язык сонгай нило-сахарской семьи (раздел написан В.А. Виноградовым), обладающий чисто формальными классами имен.

Несколько особняком стоит раздел, написанный В.Ф. Выдриным и посвященный реконструкции системы именных классов группы манде.

Описательные разделы монографии, относящиеся к разным языкам, зачастую затрагивают на разном языковом материале одни и те же вопросы, поэтому мы, следуя принципу построения самой серии "Основы африканского языкознания", кратко рассмотрим основные лингвистические проблемы, затронутые в монографии.

1. Проблема определения именного класса

Монография открывается "Введением" (В.А. Виноградов), в котором кратко рассматриваются основные именные категории языков Африки и связанные с ними теоретические проблемы. Разумеется, первое место в ряду характерных для африканского ареала именных категорий принадлежит категории именного класса. Несмотря на большое количество разнообразных определений и различных способов интерпретации и использования этого термина и ряда смежных с ним (согласовательный класс, род и др.), основная масса его толкований сводится к двум основным, которые В.А. Виноградов соотносит с именами двух классиков африканского языкознания нашего столетия – Д. Вестермана и А. Клингенхебена. В первом из этих толкований (близком к пониманию Д. Вестермана) именной класс выступает преимущественно как лексическая (лексико-морфологическая и/или лексико-семантическая) категория – группа имен, обладающих определенным морфологическим показателем и, возможно, объединяемых некоторыми общими семантическими свойствами. Другая трактовка отождествляет понятие именного класса с понятием согласовательного класса (А. Клингенхейбен, М. Гасри, Б. Хайне и др.). Такое понимание сближает типичную для Африки категорию именного класса с категорией рода европейского типа. В.А. Виноградов указывает, что два указанных подхода фактически определяют разные

языковые сущности, которые могут присутствовать в языке как совместно (именно так обстоит дело, например, в языках банту), так и порознь (род в ряде европейских языков – только согласовательный класс, языки со счетными классификаторами – только лексические классы).

В языке с развитой системой именных классов эта система выступает как сложная, многоуровневая сущность, отражающая свойственный данному языковому коллективу способ категоризации мира и задающая одновременно семантическую классификацию лексики языка, совокупность согласовательных категорий и набор формально-морфологических типов имени. Такой мощной классной системой, пронизывающей весь строй языка, обладают, в частности, языки банту. Именные классы в банту морфологически выражены в форме самого имени (при помощи специального классного префикса). Морфологический критерий выделения классов дополняется критерием согласовательным: классная принадлежность существительного определяет форму (выбор префикса) его атрибутов (прилагательного, местоимения), а также формы личного глагола (согласуемого с субъектом) и местоимений-заместителей. Столь же развитая система классов представлена в языке фула; формально система фула отличается от систем банту, в частности, тем, что в качестве основного классного показателя как самого имени, так и согласуемых с ним единиц выступают суффиксы. В отличие от языков банту и фула, язык сонгай обладает только чисто формальной (причем достаточно дробной) классификацией имен, противопоставляемых по способам образования форм числа и определенности/неопределенности. Помимо этого, реальные семантические оппозиции, стоящие за этими грамматическими противопоставлениями, позволяют говорить о наличии в сонгай скрытого грамматического противопоставления имен, выражающих дискретные и недискретные сущности (исчисляемых vs. неисчисляемых).

Язык догон обнаруживает лишь отдельные факты, свидетельствующие в пользу наличия скрытых именных классификаций: сюда относятся прежде всего противопоставление определенной группы личных имен всем прочим существительным (двум "классам" имен соответствует два разных способа образования формы множественного числа) и противопоставление реляционных и нереляционных имен, выражающееся в различных способах образования лично-притяжательной конструкции.

2. Класс как формально-морфологическая категория

Описание именных классов в языках с многоуровневыми классными системами начинается с описания морфологической структуры имени; особое внимание при этом уделяется способам маркировки его классной принадлежности. В структуру любого имени *б а н т у* входит классный префикс, который, однако, может быть нулевым, ср. *sango* 'отец, священник' (лингала); возможно также наличие более одного префикса: *ba-mi-nganga* 'врачи' (лингала). Таким образом, структура непроизводного имени в банту состоит из префикса и основы: *li-su* 'глаз' (лингала); производное имя может, кроме того, включать суффиксы (как правило, не более двух) и окончание: *eke-gamb*¹ 'язык', *omo-tet-o=a* 'невеста' (курия); *e-bim-is-em=i* 'пробуждение' (лингала). Структура классного префикса может быть довольно разнообразной: Ø, C, V, VC, CV, CVC, VCVC и др. (все варианты восходят к протобантуской модели CV-). В тех случаях, когда основе предшествует форматив, имеющий структуру V₂CV₁, возникает проблема интерпретации начального гласного V₂: одни исследователи считают его частью классного показателя, другие (в том числе и автор данного раздела [Аксенова, Топорова 1994]) видят в нем значимую морфологическую единицу. Такая интерпретация этого гласного усложняет потенциальную морфологическую структуру имени.

Существительное языка *ф у л а* в простейшем случае имеет как бы обратную структуру: оно включает основу и классный суффикс. Все суффиксальные классные показатели представлены набором алломорфов ("ступеней"), выбор которых определяется сложным набором разноуровневых факторов². Существует достаточно многочисленная группа существительных, не имеющих "материально выраженного показателя класса"; для нее необходимо разрешить вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с существительным без классного суффикса или же в таких "бессуффиксных" формах представлен нулевой классный показатель (нулевой алломорф одного из показателей). Ответ на этот вопрос, по мнению А.И. Коваль, различен для различных типов

¹Знак '=' отделяет окончание.

²В качестве метанимени класса используются формы анафорических классных местоимений, совпадающие с одним из алломорфов ("максимальной ступенью" или т.н. "ступенью деназализации") классных суффиксов.

"нулей": в тех случаях (их, очевидно, большинство), когда согласование такого существительного указывает на его принадлежность к определенному классу (маркируемому в других случаях ненулевыми алломорфами классного показателя), следует постулировать наличие в структуре имени значимого нуля (например, *bagi-Ø* 'ткань', класс O). В то же время в диалекте футаджаллон автору удалось обнаружить необычные для "классного" языка имена, немаркированные по классу, ср. *Mi yidaa fuunyē* 'Я не люблю ананас/ананасы'. Такие имена (в большинстве своем заимствованные) не обладают всеми синтаксическими возможностями обычных существительных и не могут употребляться в контекстах, требующих согласования или конкретизации числового значения (ср. **fuunyē wel-do* 'вкусный ананас').

Мена классного суффикса в ряде случаев сопровождается анлаутным чередованием, основанном на признаке смычности/несмычности³. Все именные классы распадаются на три группы в зависимости от того, какая ступень представлена в анлауте существительных данного класса. Иногда (особенно у прилагательных) выбор ступени чередования может выполнять смыслоразличительную функцию.

3. Именной класс как синтаксическая категория

Именной класс как синтаксическая категория (согласовательный класс) проявляется в согласовании синтаксических единиц, зависимых от существительного, и замещающих его местоимений. В банту согласуемая единица маркируется префиксом, который либо совпадает с префиксом имени, либо может быть получен из него в результате определенных трансформаций

³Чередуются ряды смычный — несмычный — смычный преназализованный, причем глухие согласные преназализованными быть не могут, так что для них третья ступень чередования совпадает с первой:

(1)	d	b	g	j
			/ \	
(2)	r	w	w y	y
			\ /	
(3)	nd	mb	ng	nj

p	c	k
f	s	h
p	c	k

(деназализация, редупликация, падение, изменение или появление начальной гласной и др.), подробное описание которых содержится в монографии (с. 32–33). В языке фула согласование собственно по категории именного класса представлено только в атрибутивной синтагме: вершинное существительное определяет выбор суффикса и ступени анлаутного чередования у согласованного атрибута (прилагательного или причастия). Согласование глагола с субъектом и числительного с вершинным именем устроено принципиально иначе и связано скорее с категориями числа, личности и размерности, чем непосредственно с категорией именного класса (см. ниже).

4. Соотношение класса и числа. Семантика числовых оппозиций

Категория числа в языках с именными классами "встроена" в систему классов (числовые значения выражаются классными показателями), что может вызывать дискуссии о том, является ли число в таких языках самостоятельной категорией, следует ли объединять в один класс (и/или относить к одной лексеме) числовые пары и т.д. В "идеальном" языке именными классами каждый класс (имеющий свой уникальный префиксальный показатель) однозначно отнесен к единственному или множественному числу, причем между сингулярными и плюральными классами наблюдается взаимно-однозначное соответствие, а при образовании формы множественного числа префикс плюрального класса вытесняет сингулярный префикс. Именно такое представление о соотношении категорий класса и числа вызывает стремление объединить согласовательные классы, члены которых различаются лишь числовым значением, в особый грамматический класс, который М. Гасри, например, предлагал называть *родом*.

Хотя для языков банту описанная в предыдущем абзаце идеальная картина не столь уж далека от действительности, однако, по видимому, нет ни одного языка, где бы она в той или иной степени не нарушалась, причем нарушения эти бывают разных типов:

- существуют достаточно многочисленные имена *Singularia* и *Pluralia tantum* и даже целые классы, не имеющие числового коррелята (например, 13 класс в ганда, включающий в основном производные партитивы);

- помимо значения единственности и множественности, в ряде классов реализуется числовое значение *сбирательности*;

• в пределах одного класса представлены оба числа (так, например, шестой, плюралный, класс в языке дчирику содержит несколько названий животных единственного числа: *ma-tindo* 'бегемот'; в курия сингулярный 14 класс включает также формы множественного числа диминутивов и др.);

• многие сингулярные классы способны коррелировать с более чем одним плюралным классом и наоборот, что может выражаться как в варьировании форм множественного числа для некоторых существительных (ср. в лингала: *mokuwa/mikuwa/nkiwa* 'кость/кости'), так и в наличии разных типов оппозиций единственного vs. множественного числа: существительные одного класса при образовании множественного числа попадают в разные классы (ср. в лингала: *lobeki* – *mbeki*, класс 11/10, 'горшок/горшки', но *loboko* – *maboko*, класс 11/6, 'рука/руки'); существительные разных классов при образовании множественного числа попадают в один класс (нгомбе: *i-tapi* – *tapi*, класс 7/10, 'ветвь/ветви', *li-ngungi* – *ngungi*, класс 5/10, 'волос/волосы');

• используются нетипичные способы маркировки числовых значений: чередование согласных (наряду с префиксацией, галва), наращение префикса множественного числа без вытеснения исходного префикса (суахили: *ji-tu*, ед.ч., – *ma-ji-tu*, мн.ч., 'великан').

Категория числа в фула также тесно связана с категорией класса, однако имеет вполне самостоятельную грамматическую значимость, что проявляется прежде всего в согласовании глагола-сказуемого с существительным-субъектом. Согласование затрагивает в глаголе только анлаутный согласный, который, подобно анлаутному согласному существительных, участвует в чередованиях по признаку смычности/несмычности (в глаголе представлены только две степени чередования, несмычная и смычная с преназализацией). Правило глагольного согласования, однако, никак не связано с выбором анлаутной степени имени: несмычный согласный реализуется при сингулярных классах, смычный с преназализацией – при плюралных.

Количество сингулярных классов в фула (18) заметно превышает число классов плюралных (4), что само по себе делает невозможным установление взаимно-однозначного соответствия между сингулярными и плюралными классами. Относительно простое правило соотношения между формой выражения единственного и множественного числа можно установить только для личных и

оценочных классов: так, 'личному' классу О практически всегда соответствует лично-плюралный класс ВЕ, а диминутивно-сингулярные классы находят свои плюралные соответствия в классе KON-KOY. В восточном ареале, где сформировался специальный аугментативно-плюралный класс KO-Aug, все аугментативы находят свои плюралные корреляты именно в этом классе. Оставшиеся два плюралных класса принимают все прочие существительные, причем некоторые сингулярные классы при плюрализации расщепляются.

Числовые категории в языках Африки часто имеют существенные семантические отличия от привычного нам числа в европейских именных системах. Если в языках банту нередко реализуется значение собирательности, то, например, в языке локе (кросс-риверская ветвь бенуэ-конголезских языков) даже существуют классы, образующие тернарную оппозицию, ср. *uì-yèn* 'слеза' / *uò-yèn* 'слезы' / *li-yèn* 'слезы разных людей'. Значение собирательности в определенной степени релевантно и для фула, где собирательное множество лиц часто маркируется внесистемным показателем – 'en' класса ВЕ: *dogotoro* О 'врач' – *dogotorobe* ВЕ 'врачи' – *dogotoro'en* ВЕ 'группа врачей (например, консилиум)'. Интересные наблюдения сделаны В.А. Плунгяном в отношении языка догон: в основе категории числа в догон лежит идея качественной неоднородности множества; так, при упоминании однородного недифференцированного множества объектов, а также в случае нереперентной интерпретации именной группы показатель множественности не употребляется, но зато употребляется для выражения качественной ('вина') и аппроксимативной множественности ('X и другие объекты, подобные X-y'). Еще более сложные числовые соотношения выражает категория множественности в сонгай (В.А. Виноградов): для существительных, обозначающих недискретные сущности, основным дифференцирующим признаком является признак тотальности vs. парциальности охвата множества (*hard mun hugò ra* 'В доме разлилась[вся] вода' – *harey mun hugò ra* 'В доме разлилось [немного] воды'), для существительных с дискретным значением релевантным является либо признак единичности vs. множественности объектов, либо противопоставление неограниченности vs. ограниченности рассматриваемого множества (ср. *Taahiru gonda haw* 'У Тахиру есть коровы' – *Taahiru go*

nda hawuay) 'У Тахиру есть [некоторое количество] коров').

5. Категория оценочности в системе классов

Еще одна категория, "встроенная" в систему именных классов, – это категория оценочности (дими́нүтив/аугментатив, а также пейоратив/амелиоратив). Для языков банту характерно наличие собственно или преимущественно оценочных классов (собственно дими́нүтивные классы: 12, 13, 19; собственно аугментативные: 20, 21, 22). Значения субъективной оценки (по признаку "хороший" ~ "плохой") не имеют собственных классов, причем если пейоративное значение реализуется достаточно часто (нйха: *ijumba* 'плохой дом', нйоро: *ekigwagwa* 'дурак'), то амелиоративное (лаудативное) значение самостоятельно выражается лишь в единичных случаях (бемба: *limukolwe* 'великолепный петух'). Чаще всего как пейоративное, так и лаудативное значение выступает в комбинации со значением дими́нүтива или аугментатива, ср.: *aga-nto* 'маленькая плохонькая вещь' (пейор. + димин.) в курия; *oomuhene* 'большая уродливая коза' (пейор. + аугм.) и *eehihene* 'маленькая хорошенькая козочка' (лауд. + димин.) в ши; *eesaana* 'толстый здоровый ребенок' (лауд. + аугм.) в ши. Наличие той или иной комбинации значений размерности и субъективной оценки позволяет выявить некоторые фрагменты картины мира носителей языка.

В языке фула наиболее развитой является категория дими́нүтива: существует общефульская пара специально дими́нүтивных классов NGEL vs. KON~KOY (*horde* 'тыква, калемба' – *korel* ед. ч. ~ *koron/koroy* мн. ч. 'маленькая калембаска'). В некоторых диалектах наряду с этой парой существует также специальный мизерно-дими́нүтивный класс (NGUM в восточном ареале, KEL в футаджаллон), в котором значение размерности ('предельно малые, сниженной значимости объекты') часто сочетается со значением пейоративности (ср.: *suu-du* 'дом' – *ciur-el* 'домик' – *ciur-um* '(убогий) домишко'). Еще один класс с дими́нүтивной семантикой – общефульский дими́нүтивно-парти́тивный класс KAL: *con-ndi* 'мука' – *con-al* 'немножко муки'.

Категория аугментатива столь же широко распространена в фула, однако специального сингулярного аугментативного класса не существует. Наиболее продуктивным способом образования аугментатива на об-

щефульском уровне является переход имени в класс NGAL (*waa-re* 'борода' – *bah-al, ba'al* 'большая борода'). Плюрализация аугментатива может идти разными путями: наиболее характерным здесь является, пожалуй, стремление противопоставить плюрально-аугментативные формы нейтральным по "оценочности" (в терминологии А.И. Коваль, "размерности") формам множественного числа. Однако в восточных диалектах фульфульде имеется специальный аугментативный плюральный класс KO-Aug.

Категория оценочности в фула проявляет себя и как синтаксическая, согласовательная категория: при согласовании числительного с существительным выбор формы числительного определяется личностью/неличностью и дими́нүтивностью/недими́нүтивностью имени-контролера (всего представлено три модели нумеративного согласования – для лиц, для дими́нүтивов и для прочих существительных, причем в восточных диалектах имеется и четвертая модель согласования – для аугментативно-плюрального класса KO-Aug).

6. Прочие именные категории

Категории одушевленности и/или личности в той или иной степени релевантны для большинства языков Африки.

В банту категория личности проявляется в основном через семантику именных классов: "личные" классы (1, 1A, 2, 2A) принадлежат к числу семантически наиболее однородных, так что признак личности может быть признан грамматически релевантным. Категория одушевленности проявляется скорее в тенденции к формированию парадигмы "одушевленного" согласования, в основном в языках межэтнического общения [Охотина 1985].

В фула несомненно грамматически релевантной является категория личности, контролирующая согласование в нумеративной группе (см. выше). При этом фула также располагает парой личных классов, причем если лично-сингулярный класс O включает и достаточно обширный неличный подкласс (формируемый в основном за счет процессов заимствования), то лично-плюральный класс в этом отношении достаточно однороден. С другой стороны, практически все имена, обладающие семантическим признаком личности, попадают в эти классы; исключения (*maamaare* NDE 'старуха', *daakaare* NDE 'холостой человек') немногочисленны и могут быть объяснены неполноценностью социального статуса

данных лиц. Категория личности в определенной степени релевантна и для языка догон, в котором, как уже упоминалось выше, группа наименований лиц (с суффиксом *лe* и некоторые другие) имеет свой, суффиксальный, способ образования множественного числа. Еще одна встроенная в класс категория, лишь вскользь затронутая в рецензируемой работе (в разделе, посвященном языкам банту) – это категория *локатива*, реализующаяся в банту в нескольких классах и маркирующаяся, помимо классовых префиксов, специальным суффиксом *-ini*, который может выступать как самостоятельно, так и в сочетании с локативным классовым префиксом. Помимо категории класса и связанных с ней, в монографии кратко рассматриваются категории референциальности (сонгай) и падежа/контрастивности (догон).

7. Проблема семантического описания состава классов

Важной частью описания системы именных классов является описание лексической семантики каждого класса в отдельности. Именно такое описание позволяет представить систему именных классов не только как чисто грамматический феномен, но и как явление более глубокого, когнитивного уровня – способ членения и категоризации действительности.

Семантические признаки, формирующие состав именных классов, в основном сходны в языках различных групп и ареалов. Это прежде всего признаки, связанные с положением объекта на шкале "одушевленности" (лицо/не-лицо, одушевленное/неодушевленное, предмет/субстанция), а также признаки, связанные с формой предметов, структурой и консистенцией веществ.

Так, в банту можно выделить около 35 основных лексических групп, таких как человек, животные, растения, предметы обихода, части тела и др., которые имеют тенденцию к выражению в определенном классе/классах. В абсолютном большинстве случаев, однако, подобного рода закономерности существенно неоднозначны, поэтому, как замечает И.Н. Топорова, достаточно простое описание семантики классов языков банту в целом на синхронном уровне, по-видимому, невозможно. Если наименования лиц обычно попадают в 'личные' классы 1, 1A/2, то слова из семантической группы животных можно встретить как в "классе зверей" (9), так и во многих других (например, в классах 3, 5, 7 и их множественных коррелятах). Далекое не все классы обладают достаточно четкой семан-

тической характеристикой ("классы лиц" 1, 1A/2, оценочные классы 12, 13, 19, 20–22, локативные классы 16–18, "инфинитивный класс" 15).

И.Н. Топорова считает, что проблема лексического состава именных классов может быть решена только с привлечением данных диахронии. Исследование лексем протобанту позволило ей выделить пять основных способов их распределения по классам: (1) одна исходная лексема распределяется в разных языках по нескольким именным классам, сохраняя одно значение (400 лексем из 650); (2) исходная лексема находится в разных языках в одном-двух классах и сохраняет при этом одно значение (одна пятая всех лексем); (3) лексемы попадают в один класс, но с разным значением (в большинстве случаев связь значений сохраняется, около одной шестой всех лексем); (4) лексемы попадают в новые классы, отсутствовавшие в протобанту, развивая при этом новые значения (около 6% всех лексем); (5) оставшиеся лексемы (около 15) представляют более сложные случаи. Заметим, что продолжение диахронических исследований, как бы ни была высока его научная ценность сама по себе, не отменяет необходимости принятия определенного синхронного решения о семантическом статусе именных классов в банту, которое в принципе не обязательно должно быть идентичным для всех языков данной группы.

Проблемы описания семантики именных классов в фула во многом сходны. Один из возможных путей их разрешения – использование весьма продуктивного, на наш взгляд, противопоставления лексических *конгломераций* и деривационных *ниш*, введенного А.И. Коваль [Коваль 1994]. *Конгломерация* объединяет имена, в общем случае непроеизводные на синхронном уровне и "доказавшие при диалектном сравнении свою завершенность к классификации именно по данному классу" (стр. 165). Сравнение значений таких имен позволяет выделить основные семантические признаки, лежащие в основе классового членения. *Деривационная ниша*, напротив, объединяет имена, "попавшие" в тот или иной класс в результате некоторой продуктивной деривации (образование *аугментатива*, *сингулятива*, образование отглагольного существительного и др.), причем имена, входящие в определенную деривационную нишу, могут соответствовать или не соответствовать семантике "ядерного" конгломерата данного класса.

В большинстве случаев лексический состав именного класса достаточно полно опи-

связается как совокупность некоторого количества конгломераций и деривационных ниш. Семантические признаки, объединяющие конгломерации, могут быть как обычными (так, например, классы O и VE характеризуются как классы лиц, KI – как класс деревьев, одну из ядерных конгломераций класса NDI составляют названия веществ), так и весьма изысканными (например, конгломерация хаотично, непрямолинейно движущихся и одновременно неприятных живых существ, таких как червь, пиявка, оса и т.п., в классе NGU). Ряд конгломераций объединяет предметы на основе их формы и размера (мелкие округлые предметы в классе NDE, предметы цилиндрической формы в классе NDU и т.д.), а также консистенции и структуры ("класс жидкостей" DAM, объекты рыхлой неоднородной структуры в классе KO). Обращает на себя внимание особая выделенность в системе классов важнейших понятий культуры фульбе, таких как "молоко" и "вода" (образующих лексическое ядро конгломерата жидкостей), "корова" (класс NGE – "класс коровы, солнца и огня", класс KOL – "класс теленка") и др. Ряд классов в сильной степени или полностью определяется через представленные в нем деривационные ниши: класс NDE (сингулярная деривационная ниша, хорошо согласующаяся с представленной в классе конгломерацией унарных объектов), класс NGAL (аугментативно-сингулярная ниша, согласующаяся с конгломерацией массивных предметов), диминутивно-партитивный класс KAL, диминутивно-сингулярный класс NGEL и т.д.

8. Проблема заимствований

Адекватное описание процесса освоения заимствованных слов – слов, не имеющих собственной классной характеристики, – не только составляет часть собственно языкового описания, но и позволяет пролить свет на семантические принципы, лежащие или некогда лежавшие в основе классного членения. Теоретически допустимы четыре основные стратегии освоения заимствований:

1) слово попадает в тот именной класс, которому соответствует его фонетический состав (в результате переразложения морфемной структуры имени в нем вычленяется показатель некоторого класса) – "фонетический принцип";

2) класс заимствованного слова определяется на основе его лексического значения – семантический принцип;

3) заимствованные слова собираются в некоторый "класс-поглотитель" (один или несколько);

4) допускается существование имен, не оформленных по классу (этот, маргинальный, случай впервые обнаружен А.И. Коваль, см. выше).

Так, в языке тсонга (Южный Мозамбик; раздел написан А.Д. Луцковым) семантический принцип соблюдается в отношении классов 1/2, куда попадают исключительно названия людей (*muprista* < англ. *priest* 'священник'), а также для класса 15 (названия действий или процессов), куда попадают при заимствовании глаголы, получающие при этом префикс 15 класса *ku-*, ср. *ku-lera* < порт. *ler* 'читать'. Классы 5/6 в тсонга выполняют роль класса-поглотителя (*letela* < англ. *letter* 'письмо', *fasitela* < афр. *venster* 'окно'), однако для части заимствований определенную роль сохраняет и семантический принцип: поскольку этот класс объединяет предметы круглой формы, слова, соответствующие предметам типа "колесо" (*wila* < англ. *wheel*), "мяч" (*bolwe* < порт. *bola*), "апельсин" (*lalandji* < порт. *laranja*) при заимствовании попадают именно в него. Класс 7/8 (префиксы *chi-lbsi-*), также включающий много заимствованных существительных, строго выдерживает при заимствовании фонетический принцип: в него попадают слова, имевшие в языке-источнике *st, sp, sk* в начальном слоге (*chitulo* < афр. *stoel* 'стул', *chikalo* < афр. *skaal* 'весы').

В заключение обзора позволим себе несколько замечаний общего характера. Рецензируемая работа подготовлена в основном сотрудниками отдела африканских языков Института языкознания РАН – уникального коллектива ученых, сочетающих высокий теоретический уровень исследований с глубоким проникновением в языковой материал. Сборник несомненно можно считать еще одним доказательством высокого профессионализма и большого творческого потенциала его участников. К числу его достоинств принадлежит не только прекрасное – ясное, последовательное, выполненное на современном теоретическом уровне – описание фактического материала, в том числе не описанного ранее, но и ряд теоретических выводов, имеющих несомненную ценность как для африканистики, так и для лингвистической теории в целом.

В то же время можно заметить, что книга в целом напоминает скорее сборник статей по определенной тематике, чем коллективную монографию, подготовка которой предполагает наличие единой теоретической концепции и опре-

деленный параллелизм в структуре ее описательных разделов. В данном случае дело обстоит не совсем так. Достаточно подробное описание именных систем и сходство структуры описания наблюдается только для разделов, посвященных языкам банту и фула. Авторы прочих разделов скорее выделили то, что показалось им наиболее интересным (важным, новым) в рамках заданной тематики, оставив все прочее в тени, поэтому реальное сравнение именных систем по приводимым ими данным вряд ли возможно. Так, раздел о языке догон отличается чрезмерной лаконичностью, а раздел о сонгай в основном посвящен одной, хотя и важной проблеме – семантической интерпретации так называемых противопоставлений по числу и определенности. Некоторый теоретический разнобой в работе, создаваемой группой сложившихся, самостоятельных исследователей, также вполне объясним, но плохо воспринимается в рамках пусть коллективной, но все же монографии. По-видимому, критику такого рода следует обращать скорее в адрес названия книги, которое выглядит чрезмерно обязывающим. Действительно, заголовок "Основы африканского языкознания" предполагает, в частности, гораздо более широкий охват представленных на африканском континенте языковых семей и групп (в сборнике,

например, полностью отсутствуют данные о языках койсанской семьи, а знакомство с нило-сахарской семьей ограничено языком сонгай, генетическая принадлежность которого до сих пор установлена не вполне надежно), а также более подробное их описание, в идеале выполненное по единому плану. Примером такого описания мог бы послужить действительно блестящий (и одновременно самый подробный) раздел сборника, посвященный языку фула.

Все сказанное, однако, затрагивает не столько то, что есть в монографии, сколько то, чего в ней не хватает; то же, что читатель в этой книге найдет, будет безусловно интересно не только для специалистов по языкам Африки, но и для лингвистов других профилей, прежде всего для типологов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксенова И.С., Топорова И.Н. 1994 – Язык курия. М., 1994.
Коваль А.И. 1994 – Деривация существительных и класс: тенденции развития // Знак. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А.Н. Журина. М., 1994.
Охотина Н.В. 1985 – Согласовательные классы в восточных и южных языках банту. М., 1985.

Н.Р. Сумбатова

В.Т. Клоков. *Словарь французского языка в Африке. Лингвострановедческие особенности.* Изд. Саратовского ун-та. Саратов, 1996. 431 с.

Вышедший недавно словарь В.Т. Клокова, представляющий особенности французского языка в обширной франкоязычной зоне Тропической Африки, – чрезвычайно интересней и весьма необычный труд для отечественной лексикографической литературы. Значение его еще предстоит оценить в должной мере как специалистам, занимающимся проблемами развития французского языка в новых условиях, так и, в не меньшей степени, тем, кто интересуется Африкой и связанными с ней исследованиями, прежде всего благодаря ценнейшей лингвострановедческой информации, которую находит в Словаре внимательный читатель.

Французский язык в современной Африке – гораздо больше, чем основной иностранный язык и средство межэтнического и

международного общения. Он глубоко проник в культуру африканских народов. Об этом свидетельствует, в частности, существующая уже не одно десятилетие африканская литература на французском языке, которая приобрела функции дополнительного средства выражения национального самосознания.

Языковая ситуация в Африке, в которой живет и развивается французский язык, существенным образом отличается от тех условий, в которых оказался французский язык, скажем, в Канаде, Бельгии и Швейцарии. Автор подробно анализирует языковую ситуацию в Африке в предвещающем Словарь очерке, который сам по себе представляет большой научный интерес. Один из основных выводов автора, который особенно важен для понимания теоретической концепции Слова-

ря, состоит в том, что складывающийся новый, африканский вариант французского языка постепенно становится, если уже не стал, частью африканской культуры, что, кстати, осознается самими африканцами. Французский язык, выполняющий важные коммуникативные функции, тем не менее, по мнению автора, вряд ли вытеснит местные языки. Наоборот, можно говорить об активном влиянии африканских языков на центральный вариант французского языка и приспособлении его африканцами к своей жизнедеятельности. Французский язык в Африке – особое культурное пространство, в котором находят свое отражение встреча и взаимодействие совершенно отличных друг от друга культур. Процесс этот начался сравнительно недавно, и активность его вовсе не снижается в наши дни.

Материал, собранный в Словаре, охватывает практически все районы большого франкоязычного ареала Африки южнее Сахары, и в этом его несомненная ценность. Словарь фиксирует своеобразные региональные формы французского языка, сосуществующие со складывающейся общеафриканской формой. Важный вопрос о соотношении локальных и общеафриканского вариантов французского языка достаточно сложный. Его решение требует, в частности, разработки специальных разграничительных критериев и параметров дефиниции общеафриканской нормы. Проводящиеся в течение последних десятилетий в ряде стран Африки исследования, посвященные французскому языку в Африке, свидетельствуют о том, что эта тема уже состоялась как объект пристального научного интереса. Более того, эти исследования выходят на чисто практические цели, в частности, составление единого словаря африканского варианта французского языка.

В процессе работы над Словарем автор, совершенно очевидно, опирался на богатые отечественные и французские лексикографические традиции. О влиянии французской традиции академических словарей говорит, например, приводимый в словарной статье иллюстративный материал, имеющий точную атрибуцию по своему источнику. Вместе с тем, в силу специфического характера материала, с которым имеет дело автор, ему приходится самому решать многие непростые лексикографические задачи, а именно – самостоятельно разрабатывать принципы систематизации материала и построения словарной статьи. Особенности материала определяют то, что словарная статья, как правило, представляет собой сложную структуру, насыщенную информацией. В

большинстве случаев она содержит сведения, касающиеся географической атрибуции заголовочного слова, его этимологии, а также грамматической и стилистической характеристики. Легенда обычно включает в себя подробное толкование значения лексической единицы, которое подкрепляется энциклопедической информацией. И, наконец, словарная статья содержит цитаты из произведений художественной литературы и прессы.

Не все заголовочные слова имеют столь сложную словарную статью, что, впрочем, является обычным для словаря любого типа. В данном случае неравноценность словарных статей определяется самим характером материала, неоднородным по своему содержанию. В нем вычленимы несколько групп, из которых выделяются два больших, отличных друг от друга по всем характеристикам лексических пласта. Первый представлен лексическими единицами, источником которых не является французский язык. Эти слова, пришедшие из других, прежде всего местных языков, а также неафриканских – арабского, английского, испанского, португальского, – передают реалии африканской культурно-природной среды. Некоторые африканизмы этого типа уже вошли в состав центрального варианта французского языка. Так, во многих современных словарях французского языка можно встретить *gris-gris* "талисман, амулет", *griot* "певец, сказитель, музыкант" и др.

Второй лексический пласт составляют новообразования, появившиеся во французском языке на африканской почве и источником которых является сам французский язык. Именно локализмы второго типа и демонстрируют, как в новых условиях действуют внутренние механизмы французского языка. Африканизмы двух типов по-разному представлены в Словаре. В первом случае они обычно представляются большой словарной статьей лингвистического содержания. Во втором – словарная статья, регистрируя языковой факт, имеет скорее дескриптивный характер и несомненно большую лингвистическую ценность.

Совершенно очевидным представляется сложность задач, стоявших перед автором. Работа над словарем такого типа требует прекрасного знания французского языка и особого языкового чутья, чтобы из общего речевого потока "выловить" новообразования. Материал Словаря свидетельствует о том, что его автор в равной степени обладает и тем и другим. Он хорошо знаком с африканскими реалиями, толкование которых в Словаре дается на профессиональном уровне. Все это определяет научную и

практическую ценность Словаря. Он может служить хорошим пособием для составителей словарей африканских языков, а также переводчиков произведений африканской литературы на французском языке. Известно, какие трудности вызывает перевод этой специфической лексики. Неприобщенность к ней переводчика нередко приводит к курьезам и ляпсусам и даже искажению литературного текста.

К достоинствам Словаря следует отнести и точные библиографические ссылки в иллюстративном материале, благодаря которым материал приобретает характер документа, что, несомненно, облегчит труд будущего исследователя. Отметим в этой связи, что, с точки зрения хронологических рамок, Словарь охватывает языковые данные, относящиеся к периоду 50–80-х годов нынешнего столетия. Словарь также может служить ценным источником для лексикологических исследований, поскольку фиксирует интереснейшие языковые факты, показывающие, как французский язык взаимодействует с африканской действительностью, и свидетельствующие о том, что перед нами живой и очень гибкий организм.

Среди наиболее интересных новых явлений, регистрируемых Словарем, отметим, например, инновации, являющиеся результатом изменений в семантике исходной французской лексической единицы. Так, в условиях африканской действительности французские слова приобретают новые значения: *juger* (от франц. *juger* "судить") "обзывать", "называть кем-либо"; "доедать до крошки". Отмечаются частые случаи переориентации в стилистической характеристике французского слова, в частности, движение от пейоративной оценки к нейтральной: *crapule* (от франц. *crapule* "подлец, негодяй") "легкомысленный человек"; и наоборот: *honorable* "почтеннейший (форма уничижительного обращения к чиновнику)". Многие французские слова обнаруживают высокий словообразовательный потенциал, служа источником продуктивных деривационных процессов: *ignorantisme* (от франц. *ignorant* "невежественный") "безграмотность, невежество"; *lunetté* (от франц. *lunettes* "очки") "носящий очки".

Иноязычные слова, включенные в состав лексики французского языка, могут получать французское оформление (суффиксы, окончания) и порождать, уже по французским моделям, новые лексические единицы: *jobber* (от англ. *job* "работа") "работать"; *boyerie* (от англ. *boy*) "домашняя прислуга"; "жилище для прислуги". Появляются сложные образования,

источником для которых служат несколько языков: *banabanisme* (гибрид из языка волоф и французского) "мелкая торговля с лотка"; *bwatanompère* (гибрид из суахили и французского) "священник".

Как развитие модели, действительной для центрального варианта французского языка, особенно для молодежной лексики, появляются многочленные новые лексические единицы-сокращения, как правило, с новой семантикой: *clando* (от франц. *clandestin* "подпольный") "человек без паспорта", "нарушитель закона", "преступник". Французские слова могут претерпевать трансформации под влиянием моделей, характерных для африканских языков: *façon-façon* "странный", *bien-bien* "очень".

Особый интерес, на мой взгляд, представляют новообразования, относящиеся к тому языковому уровню, который обычно характеризуют как "народный язык". Слова этого типа в Словаре сопровождаются пометами "разг.", "простореч.", "диал." (диалектизм; слово или выражение, употребляемое в среде малограмотных африканцев), а также "студ." (студенческое аргю). Именно в этой среде стихийный словообразовательный процесс особенно активен. Здесь, на стыке различных культур и мировоззрений рождаются новые слова и выражения, семантика которых нередко отмечена образностью, меткостью и сочным юмором: *camembérier* (от названия сыра "Camembert") "дурно пахнуть"; *cirer* (от франц. *cirer* "натирать обувь кремом") "избивать"; *masser* (от франц. *masser* "массировать") "лезть без очереди". Совершенно очевидно, что именно здесь идет процесс обогащения французского языка новой лексикой и в него вливаются новые, свежие силы.

Конечно, словарь В.Т. Клокова, представляющий собой словарь частного типа (автору пришлось разрабатывать новые лексикографические принципы), имеющий дело со специфической лексикой, источником которой являются в том числе и многочисленные африканские языки, не может быть свободным от неточностей и недостатков. Впрочем, многие из них являются продолжением достоинств Словаря. Отметим здесь некоторые из них.

1. Первые замечания касаются проблем перевода. Речь прежде всего идет о так называемых "неправильных" французских названиях, относящихся к африканским природным реалиям. В посвященных им словарных статьях автор, как правило, отмечает, что соответствующий вид флоры или фауны встречается не в Африке, а за ее пределами,

приводя при этом "правильное" название. Однако здесь, возможно, наблюдается особая тенденция в развитии семантики французских слов за счет появления в ней на африканской почве новых значений. Другими словами, *biche*, видимо, следовало бы переводить не "лань", а например, "разновидность антилопы", аналогично *tatou* (во французском языке "броненосец") – "разновидность ящера" и т.д.

2. Есть неточности и в переводе и толковании некоторых слов, в частности, пришедших из африканских языков. Приведем в качестве примера слова из языка фульфульде. Вызывает возражение толкование *diawando* – "у фульбе член касты, объединяющей умственно одаренных людей". Такой касты у фульбе нет. В языке фульфульде это слово означает, во-первых, "представитель одной из групп свободных фульбе", во-вторых, "хитрый, лукавый человек". "Диалло" является патрилинейным именем фульбе, а не личным, как его трактует автор. Французское слово *dot*, переводимое автором "калым", применительно к африканским условиям означает приданое, а точнее – компенсация, выплачиваемая мужем жене.

3. Следующая группа замечаний относится к проблемам этимологии. Имеются в виду неточности, например, в указании языка-источника. Так, слово *kalaka* "служащий конторы", которое автор считает африканским по происхождению, несомненно, восходит к английскому *clerk*; *babis* "сандалии", которое автор производит от английского *baby*, скорее всего происходит от французского слова *babouche* "туфля без задника и каблука"; *safara* "святая вода", по мнению автора, пришедшее из языка волоф, возможно, является берберским по происхождению.

Спорными являются также указания на исходную лексическую единицу для некоторых французских инноваций. Например, *interne* "учащийся школы-интерната" автор считает африканизмом, производным

от новой лексической единицы *internier* "помещать в школу-интернат". Однако во французском языке уже имеется *interne* с тем же значением – "ученик (живущий в интернате)". Словосочетание *âge de l'adultère* "взрослый возраст", которое автор возводит к *âge adulte* "взрослый возраст", возможно, является примером паронимической аттракции, соединившей вместе две исходные единицы *âge adulte* и *adultère* "нарушающий супружескую верность", "адюльтер", что можно, видимо, рассматривать как еще одно свидетельство народного переосмысления французской лексики.

4. Вполне логичным представляется следование в Словаре принципу, в соответствии с которым географические пометы указывают на районы регистрации конкретного языкового факта. Однако многие представленные в Словаре африканизмы никак нельзя считать узко локальными, как на это указывают географические сведения, а могут быть отнесены к более широкому ареалу и даже к общеафриканскому уровню. Такими словами и словосочетаниями являются, например, *karamoko* "учитель коранической школы", "марабут"; *djina (djinn)* "божество", "дух"; *jindja* "жиджа" (сладкий напиток с острым перцем); *groupe d'entraide* "ассоциация крестьян" и др.

Впрочем, отмеченные неточности несколько не умаляют ценности Словаря, который уже стал важным лексикологическим документом. В сущности, каждый словарь обязательно становится объектом критических замечаний в силу хотя бы того, что язык развивается и обогащается; меняются и совершенствуются со временем принципы систематизации и описания лексики. Участь всех составителей словарей собирать материал для тех, кто следует за ними, ибо, как говорил великий собиратель русской лексики В.И. Даль, "передний заднему мост".

Г.В. Зубко

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14–19 июля 1997 г. в Свободном университете Амстердама (Нидерланды) прошла V Международная конференция по когнитивной лингвистике. Несмотря на то, что как самостоятельное направление когнитивная лингвистика "родилась" всего около 10 лет назад, в этом году в конференции приняло участие более 300 человек; в течение шести дней работало шесть параллельных секций, не считая стендовых докладов.

С пленарными докладами выступили основатели направления – Дж. Лакофф, Л. Талми, Д. Герартс, Р. Лангакер, Ж. Фоконье и некоторые другие.

Дж. Лакофф (Калифорнийский ун-т в Беркли, США) рассказал о метафоризации глаголов, описывающих движения рукой – типа *пихать, толкать, давить* и т.д., и нейронной модели интерпретации этих глаголов. Ключевым словом доклада Дж. Лакоффа было *embodiment* 'воплощенность', которое в данном контексте можно было бы перевести как 'воплощение в человеческом теле': в большой степени основой для метафорических интерпретаций естественно-языковых контекстов служит человеческое тело и наиболее характерные физические движения человека.

Л. Талми (Нью-Йоркский ун-т в Баффало, США) говорил о связи языка (как когнитивной системы) с другими когнитивными системами – восприятием (зрительным, слуховым и т.п.), рассуждением, эмоциями, вниманием, памятью и культурными моделями. Идея заключается в том, что есть специфические черты для каждой из систем (например, парность для зрения), а есть черты, частично проявляющиеся и в других системах, например, симметрия, необходимая в зрительной системе, может возникать и в языке. Но кроме того, во всех этих системах есть общее, что, по мнению Л. Талми, и создает базу для единого когнитивного подхода. Это была одна из реплик в скрытом споре с хомскианцами, считающими, как

известно, язык отдельной, независимой от других, врожденной системой.

Д. Герартс (Лувенский ун-т, Бельгия) спорил открыто: он построил свой доклад в форме платоновского диалога, одним из собеседников в котором была *Antipoda Prolifica* – сторонница "идеалистического" подхода к языку (прототипом которой являлась Анна Вежбицкая). Этот подход, по мнению ее оппонента по имени *Duodecimus Empiricus* (в образ которого вошел автор доклада), выражается главным образом в интроспекции как основном инструменте лингвистического исследования. В противоположность ему альтернативный подход признает только экспериментальные методы (в том числе и в лексикографии), с опорой на мнение носителей языка и статистическую обработку полученных данных. Таким образом, центральным в докладе Д. Герартса стал вопрос о месте теории и практики в лексической семантике, причем вопрос этот изначально ставился в форме выбора: или – или. Впрочем, диалог был построен так, что каждая из сторон последовательно выдвигала свои аргументы, защищалась, и в результате оказалось, что главное для автора – это сама возможность "мирного" спора внутри одного и того же когнитивного направления.

Р. Лангакер (Калифорнийский ун-т в Сан-Диего, США) – признанный лидер когнитивной теории. Известно, что у Лангакера есть своя концепция, свой метаязык. "Изнутри" в этой теории, как и во всякой другой "закрытой" системе, нет и не может быть никаких вопросов или разногласий: есть только развитие. Одним из главных постулатов Р. Лангакера является то, что всякая метаструктура применима к анализу разных языков и самых разнообразных языковых явлений, независимо от уровня языка и степени сложности самого явления. Поэтому его доклад был посвящен применению уже хорошо известного понятия "п р о ф и л ь" в синтаксисе – прежде всего для определения подлежащего и для описания разных типов субъектно-объектных отношений в простом

предложении. В докладе использовался материал разных языков, в том числе японского и лусеньо, однако материал славянских языков не привлекался (в частности, не рассматривались безличные конструкции, которые как раз обычно и нарушают стройность принятых синтаксических теорий, когда речь заходит о подлежащем). По нашему мнению, сама идея применения понятия "профиль" в синтаксисе вполне плодотворна. В самом деле, профиль предложения – это нечто вроде его темы, только понимаемой более широко. Так, в лексической семантике ближайшим аналогом понятия "профиль" оказывается "таксономический класс". Ср. здесь самый известный пример Р. Лангакера со словом *гипотенуза* (повторенный в докладе): профилем семантического описания этого слова будет 'отрезок', а "остаток" толкования – что-то вроде: '... такой, что он является стороной прямоугольного треугольника и расположен напротив прямого угла' (этот "остаток" в терминологии Р. Лангакера называется *б а з о й*).

Таким образом, профиль – тема, но подлежащее в обычном понимании тоже тема, поэтому маркирование подлежащего в естественном языке оказывается одним из способов "профилирования" предложения. И в этом случае, как естественно-языковой механизм, оно становится в один ряд с очень многими другими явлениями, которые в Когнитивной грамматике Р. Лангакера описываются тем же способом.

Хотелось бы обратить внимание на это обстоятельство: с точки зрения теории и истории лингвистики оно представляется нам очень важным. Хотя когнитивное направление утверждается его сторонниками (в том числе и на этой конференции) как явная оппозиция к формальному подходу и "универсальной" теории Хомского и кажется по духу чрезвычайно близким нашей отечественной лингвистической традиции, тем не менее, оно развивается в среде исследователей и приверженцев именно этих западных (и на сегодняшний день, скорее господствующих) направлений лингвистической мысли, и, что очень естественно, пытается решить те же задачи, хотя и другими средствами. В частности, как можно судить и по докладу Р. Лангакера, и по его работам, и по работам других лингвистов этого направления, их заботит все-таки не конкретно-языковой материал (при всем к нему внимании), а те же поиски универсальных принципов описания языка. Их принципы иные, чем у Хомского, они новые, они имеют когнитивную основу, объединяют лингвистику с физиологией, психологией и социологией, но они должны обязательно быть ничуть не менее универсальны

– пусть даже иногда в ущерб языковым мелочам – иначе в том научном контексте это не смотрится как полноценная теория.

Среди докладчиков, выступавших на пленарном заседании, был хорошо известный в нашей стране типолог В. К р о ф т (Манчестер, Великобритания). Он говорил об идеях когнитивной лингвистики, применимых в типологии, в частности, о грамматике конструкций как достаточно универсальном способе описания синтаксических явлений, о радиальной структуре значения как способе разрешить проблему многозначности грамматических категорий (например, падежей) и об их несопоставимости в разных языках.

Очень похожий подход к изучению грамматических категорий был применен Л. Я н д о й (ун-т Северной Каролины, США) – но в диахронии. Она рассказывала о процессе утраты славянскими языками грамматической категории двойственного числа. Потеря этой категории не привела к автоматической утрате соответствующих морфологических показателей: во многих языках они переинтерпретировались как показатели лично-мужского рода (польский, болгарский и др.). Задачей Л. Янды было показать, что этот переход был вполне естественным с семантической точки зрения. Действительно, двойственное число – маркированная категория. Из двух других показателей числа – единственного и множественного – более маркированным является единственное, а не множественное, в том смысле, что единственное число обычно выражает "фигуру", а множественное более приспособлено для выражения "фона" (если пользоваться терминами Л. Талми). Бывший показатель двойственного числа "выбрал" (в системах типа польской) как раз тот единственный фрагмент множественного, который наиболее маркирован, а именно, множественное при обозначениях лиц мужского пола (прототипических деятелей). Тем самым он сохранился как показатель "маркированного" числа – выражающего в данном случае фигуру, а не фон.

Как видим, в рамках когнитивного направления происходит поиск новых оснований для систем грамматических категорий в естественном языке – исходя из представления о подвижности, изменчивости самих этих систем. В таком случае основой для их временной стабильности служат общие когнитивные принципы, создающие для носителя языка "удобные" условия для их использования в этом виде.

И. С в и т с е р (Калифорнийский ун-т в Беркли, США), известный специалист в области когнитивного подхода к проблемам диахронии, на этот раз свой доклад на

пленарном заседании посвятила новому подходу к проблеме композициональности. Понятие композициональности в традиционной формулировке (значение целого равно сумме значений частей плюс значение операции над частями) оказывается, по мнению И. Свитсер, недостаточным уже потому, что предполагает существование некоторого постоянного значения, все компоненты которого необходимым образом участвуют в процедуре сложения с другим значением. Между тем значение не постоянно – оно контекстно зависимо: в разных контекстах выступают разные грани значения (ср. известный пример Р. Лангакера *красный карандаш* – ‘пишет красным’ или ‘имеет красную поверхность’). Отсюда “полезная” избыточность самого значения и возможность его взаимодействия с контекстом на разном уровне. Таким образом, автору удается сохранить саму идею композициональности, но путем усложнения как структуры значения (ср. понятие ментальных пространств – *mental spaces* у Ж. Фоконье), так и процедуры сложения смыслов.

Оживленную полемику вызвал доклад на секции Д. Тагги (Летний лингвистический институт, США) “Хранение или порождение сложных языковых структур: четыре максимы”. Д. Тагги защищал возможность хранения сложных с лингвистической точки зрения структур в мозгу человека целиком, в готовом виде, и отрицал всеобщность привычной лингвистам процедуры порождения, в частности, всеобщность противопоставления *словарное – грамматическое*. Тагги считает, что если сложные структуры и порождаются носителем языка по определенным правилам, то, во-первых, не обязательно всяким носителем, во-вторых, не обязательно во всех обстоятельствах, в-третьих, не обязательно все без исключения структуры и, наконец, не обязательно только порождаются: человек может использовать правила и память одновременно, то есть вспоминать готовые формы, как бы опираясь на процедуру их порождения.

Многие доклады были посвящены семантике, прежде всего лексической, причем обычно исходным материалом для анализа служили опросы информантов и статистическая обработка полученных ответов. Так, доклад Д. Бейтель, Р. Гиббса и П. Сандерса (Калифорнийский ун-т в Санта Крузе, США) был посвящен семантике английского предлога *on*; авторы этой работы предлагали испытуемым вопросы типа: является ли ситуация, описываемая как ‘на столе’, ‘на шее у родителей’ и под., ситуацией поддержки, давления, по-

крытия, видимой ситуацией и др. под., и на основании полученных ответов строили свои выводы о семантике *on*. Доклад А. Ченки (ун-т Атланты, США), относящийся тоже к области экспериментальной семантики, был посвящен сопоставлению двух близких категорий морали в русском сознании – ‘честность’ и ‘порядочность’ – на основе исследований жестов, образной системы, языковых и внеязыковых ситуаций, связанных с этими категориями.

Заседания последнего дня конференции были организованы по типу “круглого стола” – обсуждались проблемы полисемии, метонимии и метафоры, когнитивные модели изучения иностранного языка и некоторые другие темы. Один из круглых столов был посвящен столетию Бенджамина Уорфа. Исследовательница жизни и творчества Б. Уорфа П. Ли выступала на заседании с экрана, находясь при этом у себя в университете Западной Австралии. В дискуссии приняли участие К. Годдарт (он говорил о связи концепций Б. Уорфа и А. Вежбицкой) и Дж. Лаккофф. Доклад Лакоффа был, как всегда, достаточно парадоксальным: он выступил с критикой критиков Б. Уорфа, утверждая, что последующие интерпретаторы и публикаторы его работ понимали его идеи слишком прямолинейно и однозначно. Между тем уже сам факт, что какие-то свои работы (в частности, касающиеся хопи) Б. Уорф не публиковал при жизни, говорит о том, что он не придавал некоторым своим лингвистическим утверждениям (например, об отсутствии в хопи метафор времени) того значения, которое было приписано им позже независимо от его воли. И наоборот, исследователи недооценивали религиозную составляющую в творчестве Б. Уорфа (а он был глубоко верующим христианином) – в частности, его интересовала проблема поиска самого совершенного, прозрачного, лучшего языка, и отпечаток именно этой идеи лежит на всей его лингвистической деятельности.

В целом, конференцию можно охарактеризовать как важное событие лингвистической жизни в мире. Она объединила разных исследователей общим интересом к причинам языковых явлений и процессов и общим пониманием того, что без исследования этих причин ничего ни в каком языке понять нельзя.

VI конференция по когнитивной лингвистике состоится в 1999 году в Стокгольме.

Е.В. Рахилина
(Москва)*

* Настоящая работа поддержана грантом РФФИ N 97-04-06380а.

30–31 октября 1997 г. в Санкт-Петербурге состоялись тунгусо-маньчжурские чтения, которые регулярно проводятся отделом алтайских языков Института лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН), начиная с 1993 г. В этот раз чтения были посвящены памяти члена-корреспондента АН СССР В.А. Аврорина.

Валентин Александрович Аврорин, несомненно, был и остается одним из ярчайших российских североведов. Он родился в г. Тамбове в 1907 г., в 1930 г. закончил этнографическое отделение Географического факультета Ленинградского государственного университета. Первые экспедиции к орочам предпринял еще студентом в 1927 и 1929 гг. под руководством сотрудника Музея антропологии и этнографии И.И. Козьминского. Круг интересов Валентина Александровича был чрезвычайно широк. Он начинал как этнограф, но более известны его работы по лингвистике, в том числе и социолингвистике, национальным отношениям. Труды В.А. Аврорина отличаются необыкновенной тщательностью подготовки. Его фундаментальная "Грамматика нанайского языка" – пример не только основательности, но и нетрадиционного подхода к грамматическим категориям тунгусо-маньчжурских языков. Незаурядная личность и работы этого ученого, к сожалению, еще не оценены в должной мере научным сообществом.

На конференции присутствовали ученые из Москвы, Новосибирска, Петербурга. Было прослушано 17 докладов и сообщений. Открывая чтения, заместитель директора ИЛИ РАН А.П. Сытов подчеркнул, что В.А. Аврорин – выдающийся российский лингвист и его труды имеют непреходящее значение.

Основные темы докладов на чтениях были такие: а) научная деятельность В.А. Аврорина, б) различные вопросы грамматики тунгусо-маньчжурских и других алтайских языков, в) проблемы этимологических исследований.

Первая группа докладов была сделана учениками Валентина Александровича и его вдовой Е.П. Лебедевой.

Е.П. Лебедева (Санкт-Петербург), известный филолог-северовед, посвятила свой доклад одной из сложнейших в этнографии тем – инцесту. Эта тема разрабатывалась ею совместно с В.А. Аврориным. Существование инцеста у тунгусо-маньчжурских народностей, разумеется, не может считаться бесспорным. Тем не менее фольклор, и в том числе ороцкий, содержит информацию о возможном или действительном сожителе между младшим братом и сестрой. Ороцкий инцест, полагает Е.П. Лебедева, можно рассматривать как пережиток такой формы кровнородственной семьи, в которой мужьями были млад-

шие братья разных степеней родства, а женами – их сестры. Тунгусо-маньчжурская система родства, в основе своей очень древняя, восходит к кровнородственной семье, возникшей в результате деления первобытного человеческого общества не на родителей и детей, а на старших и младших родственников.

В докладах А.М. Певнова (Санкт-Петербург) и М.М. Хасановой (Санкт-Петербург) была сделана попытка оценить вклад В.А. Аврорина в лингвистику, этнографию и фольклористику. М.Д. Симонов (Новосибирск) коснулся социолингвистических исследований Валентина Александровича, который занимался проблемами "языкового строительства" со студенческих лет. В 1967–1969 гг. по его инициативе и под его руководством было проведено крупномасштабное социолингвистическое обследование народностей Сибири. В.А. Аврорин был обеспокоен все усиливающимся процессом утраты сибирскими народностями своих языков и культуры, сокращением преподавания "родных языков" в школах, почти полным прекращением выпуска книг на сибирских языках. Он стремился повлиять на ситуацию, смягчить русификацию, вернуть людям уверенность в значимости их культуры. Итогом его работы стала книга "Проблемы изучения функциональной стороны языка" (Л., 1975), где содержатся и его теоретические воззрения на функции языка, и практические рекомендации по возрождению языков коренных народов Сибири.

В выступлениях Л.М. Гореловой, С.Л. Чаарекова, И.В. Недялкова, А.Л. Мальчукова (вторая группа докладов) рассматривались различные вопросы грамматики.

Дискуссия развернулась вокруг доклада Л.М. Гореловой (Москва) "Исчезновение и развитие языков (на примере маньчжурской народности сибо)". Был отмечен недостаток сведений в русскоязычной литературе по современному маньчжурскому языку, по диалектам зарубежных нанайцев, солонов и других тунгусо-маньчжурских народностей Северного Китая. Л.М. Горелова привела ряд интереснейших примеров, показывающих отличие сибинского диалекта от маньчжурского языка. Китайскими учеными сибинский признается самостоятельным языком, тогда как российские исследователи считают его диалектом маньчжурского. Сугубо теоретический вопрос, переведенный Л.М. Гореловой в плоскость конкретного взаимоотношения двух языков (или диалектов), вызвал весьма активное и плодотворное обсуждение.

И.В. Недялков (Санкт-Петербург) в докладе "Нанайские дееспричастия в типологическом аспекте" отметил выдающуюся роль

В.А. Аврорина в описании глагольных категорий. В.А. Аврорин, в частности, детально и тонко описав нанайские деепричастия, более 40 лет назад впервые ввел в научный оборот такие референтные признаки деепричастий как односубъектность и разносубъектность. Он фактически предвосхитил подразделение деепричастий на две основные семантические группы: семантически сложные (полисемичные, или семантически неопределенные) и семантически простые (специализированные). Известной научной смелости и прозрачности, по мнению докладчика, потребовало включение в группу нанайских деепричастий аналитической формы – *риди гэсэ* со значением контактного предшествования.

В выступлении С.Л. Чарекова (Санкт-Петербург) "Словообразовательные суффиксы и проблема родства алтайских языков" рассматривалась возможность исследования указанной проблемы с опорой на некоторые глаголообразующие форманты. Фонетические соответствия суффиксальных морфем, считает С.Л. Чареков, из-за их краткости не могут служить основанием для выводов о родстве языков. Он предложил базироваться на семантике сходных по звучанию формантов, для чего необходимо выделить определенные лексико-семантические группы имен существительных, служащих основой производного глагола, а также классифицировать значения глаголов по типам действий. Этот подход позволяет применять единые критерии к сходным суффиксам различных алтайских языков, что дает возможность делать заключения об их идентичности или же различии.

А.Л. Мальчук (Санкт-Петербург) в докладе «К вопросу о "продолженном" способе действия в эвенском языке» пришел к следующим выводам: конвергентное развитие тунгусского процессива, результатива, а также показателя отыменных глаголов *-ч/-т-* и показателя многократности *-кта-* не было завершено; в отличие от эвенкийского, где доминирует объектный результатив, в эвенском преимущественно представлен субъектный и агентивный результатив, что связано с его совпадением с процессивом, не меняющим диатезу; в типологическом плане следует различать два типа транзитивного результатива: агентивный (производный субъект соответствует исходному агенту) и посессивный (производный субъект не соответствует актантам исходного глагола).

Л.Ж. Заксор (Санкт-Петербург) рассказала о способах конструирования некоторых терминов в нанайском языке ("Нанайская лесохозяйственная и лесопромышленная лексика"). Источником пополнения нанайской

лексики являются заимствования из русского языка, а также новые термины, образованные средствами самого нанайского языка. Л.Ж. Заксор обнаружила, что при создании новых нанайских терминов применяются суффиксальное словообразование, терминологизация общеупотребительных слов и словосочетаний, субстантивация причастий, калькирование по моделям русского языка.

Н.И.Гладкова (Санкт-Петербург) обратила внимание специалистов на отсутствие общетунгусо-маньчжурского слова со значением 'слово, язык, речь'. В северной подгруппе это будет *түрэн ~ тэрен* (эвенк., эвен.), в южной – *кэсэ ~ хэсэ*. Негидальский и солонский языки, входящие в северную подгруппу, в данном случае примыкают к южной. Вероятно, слово *хэсэ* – довольно позднее, но широко распространеннейшее заимствование из маньчжурского языка.

На последнем заседании был зачитан доклад Х.И. Дуatkина (Якутск) "Изучение диалектов эвенского языка: состояние исследования и классификационные принципы".

Третья группа докладов была посвящена этимологическим исследованиям. Новую гипотезу о возникновении парадигмы тунгусо-маньчжурского "настоящего времени" с суффиксом *-ра-* предложил М.Д. Симонов. Основой для выводов послужил материал эвенкийского и нанайского языков. Автор развивает идею К. Менгеса, состоящую в том, что формы настоящего времени 1 и 2 л. ед.ч. исторически состоят из суффикса *-н-* + личный показатель, а остальные личные формы – из суффикса *-ра-* + личный показатель. М.Д. Симонов предположил, что в праязыке форма на *-н-* передавала сильную определенность действия, а близкая ей по значению форма на *-ра-* – более слабую определенность; скорее всего самыми употребительными в речи среди форм *н-*парадигмы были формы 1 и 2 л. ед.ч., которые и сохранились до наших дней, а остальные личные формы постепенно заместились таковыми из *ра-*парадигмы.

А.М. Щербак (Санкт-Петербург) говорил о разработке проспекта монографии "Материалы для этимологического словаря тунгусо-маньчжурских языков. Заимствованный фонд". Он подчеркнул, что еще С.М. Широкогоров обратил внимание на чрезвычайную смешанность лексики тунгусо-маньчжурских языков, побуждающую считать выделение заимствованного фонда одной из важнейших задач подготовки материалов для этимологического словаря. Как известно, решению этой задачи придавали большое значение составители "Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков", являющегося

богатейшим собранием тунгусо-маньчжурской лексики и главным источником лексико-логических исследований; однако имеющийся в нем справочно-этимологический комментарий нуждается в значительной корректировке: в частности, параллели из тюркских и монгольских языков нередко случайны и предлагаемые сопоставления не опираются на сколько-нибудь надежные данные.

Доклад С.Е. Яхонтова (Санкт-Петербург) "О некоторых общих алтайских этимологиях" затрагивал ряд положений книги С.А. Старостина "Алтайская проблема и происхождение японского языка" (М., 1991). В ней используется математический метод, связанный с лексико-статистикой и позволяющий определить, объясняется ли сходство между языками родством или случайными совпадениями. При этом С.А. Старостин предлагает некоторые новые этимологии. Признание или непризнание их влияет на статистику и далее – на окончательный вывод. В качестве подобного рода примеров С.Е. Яхонтовым были подвергнуты критическому анализу алтайские этимологии слов со значением 'глаз', 'собака', 'камень'. Основываясь главным образом на принимаемых С.А. Старостин фонетических соответствиях, докладчик пришел к заключению, что сближения вышеназванных тунгусо-маньчжурских слов со словами других алтайских языков неверны.

Несколько докладов было посвящено вопросам этнографии и социолингвистики. В выступлении А.А. Петрова (Санкт-Петербург) "Социолингвистика и этнолингвистика" разбиралась проблема взаимоотношения этих дисциплин. Возникновение новых направлений на стыке наук (этнохореография, этномышкетознание, этномедицина, этнокультурология и др.), как правило, вызывает дискуссии. Так, одни считают этнолингвистику разделом языкознания, изучающим проблемы соотношения языка и духовной культуры этноса (Н.И. Толстой), другие – "пограничной дисциплиной, лежащей между языкознанием, этнографией и социологией" (А.С. Герд), включая в область ее исследования и факты материальной культуры. А.А. Петров разграничивает в рамках внешней лингвистики социолингвистику и этнолингвистику как самостоятельные разделы языкознания и, соглашаясь с Н.И. Толстым, предметом исследования этнолингвистики считает язык и духовную культуру этноса.

Л.И. Сем (Санкт-Петербург) рассказала об этнонимах малоизвестной дальневосточной этнографической группы – тазов, насчитывающих не более 200 чел. и проживающих на территории Приморского края. Тазы говорят на диалекте китайского языка и представляют

собой результат смешения коренных народностей Приморья (нанайцев, удэ) с пришлыми китайцами. Л.И. Шренк вслед за П. Клапротом пришел к выводу, что этноним *тадзы*, или *тазы* < *та-тань* ~ *да-дань* 'северные дикари, инородцы'. К. Риттер полагал, что *тадзы* ~ *тацзы* – собирательное название для монгольских и тунгусских племен, живущих к северо-востоку от китайцев. Приведенные Л.И. Сем этнонимы, бытовавшие в XIX в., подтверждают вывод Л.И. Шренка о значении слова *тадзы* (солон *тадза* 'солонь', *гольда тадза* 'гольды (нанайцы)', *килин тадза* 'кили, сунгарийские нанайцы', *манзу тадза* 'китайцы'). Самоназвание этнографической группы тазов восходит, по мнению Л.И. Сем, к одному из территориальных наименований, данных ей китайцами: *вай сан тадза* 'народ, живущий за горами', т.е. "наружные" тазы.

Т.А. Пан (Санкт-Петербург) в докладе "Шаманская атрибутика солонов" охарактеризовала ранее не известную коллекцию, хранящуюся в двух музеях Германии (Музеи народного искусства Дрездена и Берлина). Вещи принадлежали этнографу-любителю В. Штотнеру и были приобретены им в бассейне р. Сунгари в 1927–1929 гг. Собрание включает около ста предметов преимущественно культового назначения. Т.А. Пан подробно осветила солонскую часть коллекции: костюм шамана, амулеты, изображения духов, своеобразные рисунки-"иконы". Доклад сопровождался показом слайдов.

Интереснейшей территориальной группой эвенков – манеграм – посвятила свое выступление Н.Я. Булатова (Санкт-Петербург). Первые сведения о манеграх, как и о бирарах (еще одной территориальной группе эвенков), относятся к XVII в. В конце XVII в. территория проживания манегров и бираров – Верхнее Приамурье – по Нерчинскому договору отошла к Китаю, поэтому данные о них в русской литературе XVII–XVIII вв. практически отсутствуют. В XVII в. манегры были оленеводами и охотниками, но в XVIII–XIX вв. постепенно перешли к коневодству. Манегры, считает Н.Я. Булатова, значительно отличались от собственно эвенков, т.к. на их культуру оказали большое влияние другие народы. Язык же манегров следует рассматривать как один из говоров восточного наречия эвенкийского языка.

В заключение можно отметить, что конференция была во всех отношениях хорошо организована и прошла в атмосфере оживленных творческих дискуссий. Следующие чтения намечено провести в 1999 г.

М.М. Хасанова
(Санкт-Петербург)

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al."

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: *Успенский Б.А.* 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см., выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrs.g. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California). 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

E. V. P a d u č e v a (Moscow). On the paradigm of regular polysemy of verbs expressing sound; K. A. P e r e v e r z e v (Moscow). Utterance and situation: on ontological entities in the philosophy of language; E. M. V e r e š č a g i n (Moscow). Two research instruments applied to the concept of the Russian Bible of metropolitan Philaret (Drozdov). To the centenary of the publication of Hildebrandt's concordance to the Psalter; A. A. P l e t n e v a (Moscow). Discussion on Old Church Slavonic in the end of the XIX century. Position of advocates of the archaic theory; A. N. S o b o l e v (St.-Petersburg). On the predicative use of participles in Russian dialects; A. K. M a t v e e v (Ekaterinburg). Merjan toponymy in the Russian North – a phantom or a phenomenon? **Reviews:** Yu. V. Š č e k a (Moscow). Turkic languages. V. 1. 1997; N. R. S u m b a t o v a (Moscow). Principles of African linguistics. Nominal categories; G. V. Z u b k o (Moscow). *V.T. Klovov*. A dictionary of French in Africa; **Scientific life**.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 25.06.98 Подписано к печати 17.08.98 Формат бумаги 70 × 100 1/16
 Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 15,8 тыс. Уч.-изд.л. 12,2 Бум.л. 4,0
 Тираж 1487 экз. Зак. 4206

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
 редакция журнала "Вопросы языкознания"

Телефон 201-74-42

Отпечатано в типографии "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6